

БОРИС ЛЬВОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ

✧
Были и небыли
Господа волонтеры
✧



✧ РУССКАЯ КЛАССИКА ✧

Олексины

Борис Васильев

**Были и небыли. Книга
1. Господа волонтеры**

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Васильев Б. Л.

Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры / Б. Л. Васильев —
«Издательство АСТ», — (Олексины)

ISBN 978-5-17-114303-9

1870-е годы. В большой, дружной и родовой, хоть и небогатой дворянской семье Олексиных подрастают шестеро братьев и сестер — Варя, Гавриил, Василий, Федор, Маша, Иван и Володя. Один за другим покидают они родительское гнездо — и куда занесет их выбор взрослого пути? Удастся ли их искренности и юношескому идеализму, открытости и негибким представлениям о чести и порядочности устоять перед трудностями, горестями и разочарованиями, а то и смертельными опасностями, которые им не раз доведется пережить?.. «Господа волонтеры» — замечательный роман Бориса Васильева, который можно читать и как часть его увлекательной дилогии «Были и небыли», и как совершенно отдельное произведение с острым сюжетом и яркими, запоминающимися характерами.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114303-9

© Васильев Б. Л.
© Издательство АСТ

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
1	6
2	11
3	14
Глава вторая	19
1	19
2	25
3	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Борис Васильев
Были и небыли. Книга
1. Господа волонтеры

© Б. Л. Васильев, наследники, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Часть первая

Глава первая

1

– Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр... – Худощавый, болезненно бледный офицер монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал Благородного собрания.

Публики было много, и не только дворянской, ибо в широко разосланных Славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора, а появление его личного адъютанта подчеркивало серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамы с засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллионщики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские, то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и, подогретая газетной шумихой, Москва валом валила в Большой белый зал.

– Господа, прошу не задерживаться...

– Господин капитан, а танцы будут? – бойко спросила хорошенькая барышня, тронув веером порядком уставшего адъютанта.

– О, мадемуазель Лора! – Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. – Как всегда, в одиночестве гордом? Бросаете вызов московскому обществу? Приветствую вашу решимость в суровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер.

– А что скажет ваша очаровательная жена?

– Она так любит вас, Лора, что будет только счастлива.

– Я подумаю, Истомин. Здесь, случаем, не появлялся высокий шатен?..

– С туркестанским загаром? – улыбнулся Истомин. – Увы, пока нет.

– Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева.

– Непременно, мадемуазель... Господа, очень прошу не задерживаться.

Девушка убежала, прошуршав платьем по мраморным ступенькам. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи, двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей; входя, все непременно задерживались в вестибюле, ища знакомых или начиная обстоятельные московские беседы.

– Господа, прошу... – Среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу. – Олексин! Пожалуйста сюда!

Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из-за рыхлых сюртуков.

– Рад вас видеть, Истомин. Дежурите?

– Изображаю вопиющего в пустыне. О, поздравляю с производством, поручик. Говорят, вы недавно совершили приятный вояж?

– Не шутите, Истомин, я чудом не помер от жажды в Кызылкумах.

– Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева. Правда это или легкая зависть преувеличивает ваши успехи?

– Если бы я вам привез именной его величества указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции.

– От души поздравляю. – Адъютант пожал руку поручику. – А награда ждет вас в третьем ряду слева.

– Здравствуйте, господа. Кто ждет в третьем ряду? – К ним подошел рыжий, весь в веснушках, подпоручик гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок.

– Не вас, Тюрберт, не вас, – сказал Истомин. – Ждут нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским, и теперь его час. Ступайте, господа, мне необходимо очистить вестибюль к приезду его превосходительства.

– Мне чертовски скучно в Москве, Олексин. – Тюрберт опять зевнул. – Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, а наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой. И вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливчик.

Олексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять, искренне считал себя счастливчиком, был влюблен и любим и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место, а сам отошел к колонне, гордо поглядывая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью – словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. «Смотрите, смотрите! – слышалось ему в нестройном шуме зала. – Видите у колонны молодого поручика? Это же Олексин! Да, да, тот самый Гавриил Иванович Олексин, личный курьер его величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя!..» Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера, никто не говорил о нем, да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелка, жажда и само поле боя существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий же день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко, был тут же произведен в поручики и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал себя если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то, чего не было, и не замечал того, что было.

На сцене появились члены Славянского комитета, в зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра.

Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил по поручениям церкви и по своим надобностям, много видел, часто выступал с просветительскими и благотворительными целями, писал статьи и заметки, состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали, любила слушать, привыкла к нему, но сейчас по залу пробежал легкий ропот: всегда строго и тщательно одетый священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами простой дорожной рясе, с почерневшим и погнутом медным крестом на груди.

– Актерствует отец, – насмешливо сказал студент рядом с Олексиним.

Отец Никандр начал говорить, и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры, нахмурился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у кота, ус над розовым ушком, чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох.

– ...я ехал по выжженной, вытоптанной и напоенной кровью стране, – донеслось до него наконец. – И если бы не заброшенные кукурузные нивы, если бы не изломанные виноград-

ники, я мог бы подумать, что Господь перенес меня через столетия и я еду по родной Руси после нашествия Батыя. Увы, я был не в Средневековье, я путешествовал по европейской и христианской – услышьте же это слово, господа! – христианской стране в конце просвещенного девятнадцатого столетия!

Шепот прошелестел по залу, и опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, спокойный и полный горечи пафос отвлек Гавриила от досадных дум и подозрений; он не смотрел более в третий ряд, он слушал.

– Мы ехали медленно, очень медленно, потому что на дороге то и дело попадались неубранные, уже тронутые тлением трупы. Лошади останавливались сами, не в силах сделать шаг через то, что некогда было венцом Божьего творения; мы выходили из кареты, мы рыли ямы близ дорог, и я совершал последний обряд, не зная даже, как назвать душу, что давно уже предстала пред Богом. «Господи, – взывал я, – прими душу в муках почившего раба твоего, а имя ему – человек».

Он снова сделал паузу, и в мертвой тишине отчетливо было слышно, как судорожно всхлипнула женщина.

– Воздух пропах тлением, смрадом пожарищ, кровью и страданием. Великое безлюдье и великая тишина сопровождали нас, и лишь бездомные псы были в отдалении, да воронье кружилось над полями. Цветущая земля Болгарии была превращена в ад, и я не просто ехал по этому аду, я спускался в него, как Данте, с той лишь разницей, что это была не литературная «Божественная комедия», а реальная трагедия болгарского народа. Я потерял счет замученным, коих отпевал, я потерял счет уничтоженным жилищам, я потерял счет кострам и виселицам на этой земле. Я думал, что достиг дна человеческой жестокости и человеческих страданий, но я ошибся: Бог послал мне страшные испытания, ибо человеческая жестокость воистину есть прорва бездонная.

Вечерело, когда смрад стал ужасным. Кучер погонял лошадей, но они лишь испуганно прыдали ушами, а потом и вовсе остановились, точно не в силах идти дальше. Мы вышли из кареты. Левее от нас на возвышенности еще дымилось, еще догорало огромное село. Клубы смрадного дыма сползали к дороге, окутывая ее точно саваном. Нечем было дышать от пропитанного миазмами разложения липкого, жирного дыма. Там, наверху, находилось нечто ужасное, распространявшее на всю округу тяжкий дух смерти, и я не мог не увидеть это воочию. Прочитав молитву, я медленно тронулся в догорающее селение. Я шел один, вооруженный лишь Божиим именем и человеческим состраданием, я шел не из праздного любопытства, а в слабой надежде найти хоть единое живое существо и вырвать его из лап смерти. Я пробирался через горящие обломки зданий по улицам села, и смрад усиливался с каждым моим шагом. Я задыхался, я хрипел, весь покрывшись потом, но шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в доме молитвы, найду кого-либо из тех, кто еще нуждается в помощи. Но совсем скоро я замер, не в силах сделать ни шагу: я наткнулся на труп. Жалкий, сморщенный, полуобгоревший трупик ребенка валялся посреди бывшей улицы – той улицы, на которой совсем недавно протекала вся его веселая детская жизнь, где он играл и дружил, откуда вечерами его никак не могла дозваться мать. Я подумал о его матери и не ошибся: я увидел ее рядом, в двух шагах, с черепом, раскроенным зверским и неумелым ударом ятагана. Она тянула руки к своему ребенку, она, мертвая, звала его к себе. В ужасе оглянувшись я окрест и всюду, куда только достигал мой взгляд, – под тлевшими остатками домов, во дворах, на обочинах и просто среди дороги – всюду видел трупы. Трупы детей и женщин, девушек и юношей, мужчин и старцев. Трупы росли, трупы вздымались горами, трупы тянули ко мне синие руки. Я шел как в страшном сне, вцепившись в крест и творя молитву.

Так, обходя трупы и просто перешагивая через них, когда обойти было невозможно, продолжал я свой страшный путь. Я не задохнулся от смрада, не захлебнулся от рыданий, не потерял сознание от ужаса: я выдержал испытание, я уверовал в свои силы. Но когда я вошел в

церковный двор, я понял, что никаких человеческих сил не хватит, чтобы вынести то, что мне предстало: весь двор был завален человеческими телами. Весь двор, от стены до стены, от церкви до ворот, в несколько слоев! Четвергованные обрубки, бывшие некогда мужчинами, девичьи головы с заплетенными косичками, изрубленные женские тела, иссеченные младенцы, седые головы старцев, проломленные дубинками, – все это со всех сторон окружало меня, все это давило и теснило меня, и я не мог сделать ни шагу. Я был в самом центре царства мертвых. И тогда я завопил. «Господи! – кричал я, и слезы текли по моим щекам. – За что ты столь страшно испытываешь смирение мое, Господи? Вложи меч в руки мои, и я воздам зверям в облике человеков. Вручи мне меч, Господи, ибо силы мои на исходе от испытания твоего! Вручи мне меч!..» Так кричал я над телами моих братьев и сестер, принявших лютую смерть из рук башибузуков. Кричал, пока не истощились силы мои и не рухнул я на колени в запекшуюся кровь. Я рыдал и молился и встал, осознав долг свой. Долг этот придавал мне сил: я не только дошел до кареты, но и еще раз проделал весь путь от дороги до церкви, захватив с собой все необходимое для требы. Когда мы вернулись на церковный двор, уже стемнело и взошла луна. Кучер-болгарин рыдал, упав ниц и грызя окровавленную землю, а я отслужил панихиду по невинным страдальцам, земно поклонился и поклялся, пока жив, рассказать миру, что творится в несчастной Болгарии.

Мы не спали ночь, притомились и потому остановились на отдых в полдень недалеко от места чудовищной гекатомбы. Это был небольшой постоялый двор на перекрестке, принадлежащий испуганному, тихому и немолодому болгарину. В доме находилась жена хозяина, заплаканная и почерневшая от горя, и их дочери десяти и шестнадцати лет. Я спросил о стертом с лика земли селении; хозяйка, а вслед и дочери начали рыдать, а хозяин тихо и горестно поведал мне, что селение называлось Батак, что жители его встали против произвола османов и были поголовно вырезаны в страшную ночь и еще более страшный день. Хозяева и сами были родом из Батака, но находились здесь и потому уцелели, а все их имущество было разграблено и предано огню, все их родственники и единственный сын, по их словам, погибли в резне, учиненной озверелой толпой башибузуков. Это случилось совсем недавно, всего несколько дней назад, но окрестные жители боялись приблизиться к селению, страшась мести башибузуков, и я был первым, кто взошел на эшафот после ухода палачей. Я мог бы многое поведать вам с его слов. Я мог бы рассказать, как ятаганами рубили материнские руки, чтобы вырвать из них младенцев и бросить их в огонь. Я мог бы рассказать, как стреляли в набитую людьми церковь, набитую настолько, что пули пронзали по несколько человек кряду, а убитые оставались стоять, ибо пасть им было некуда. Я мог бы рассказать, как зверски, на глазах отцов и матерей, насиловали девочек прямо на окровавленной земле, а утолив животную похоть, отводили их на мост, где и отрубали им головы, соревнуясь в лихости удара. Я многое мог бы рассказать, но я пощажу ваши чувства.

Я не помню, кто первым крикнул знакомое нам, но – увы! – страшное в Болгарии слово «черкесы».

Я ничего еще не успел понять, как мать бросилась предо мною на колени, умоляя спасти ее старшую дочь. Спасти не от смерти, нет, – кажется, они уже не боялись смерти! – спасти от неминуемого и мучительного позора. «У меня в доме есть тайник, но в нем не поместятся двое. Умоляю вас, господин, спасите мое дитя! Заклинаю вас именем Бога и матери вашей, спасите!» Я сам отвел дрожавшую от страха старшую девочку в свою карету, уложил ее на пол, накрыл ковром, а поверх навалил багаж. И вовремя: к дому уже со всех сторон с гиканьем неслись всадники. Они мгновенно окружили дом, вытолкали всех во двор и поставили у стены. Все делалось молча и дружно; лишь один – очень молодой, в простой черкеске, но с богатым оружием, – стоял в стороне, не вмешиваясь в суету и не отдавая никаких распоряжений, хотя был их вождем, что я понял сразу.

Пока черкесы грабили дом, вынося все, что представляло хоть какую-то ценность, или попросту круша и ломая, если вынести было невозможно, этот последний через суетливого переводчика-болгарина приступил к допросу хозяина: «Где твой сын?» – «Не знаю», – сказал старик. «Он врет, эфенди! – закричал переводчик. – Его сын сражался в Батаке!» – «Стыдно врать такому почтенному человеку, – сказал черкес. – А где твои дочери?» – «Не знаю», – тихо, но с непоколебимым упорством повторил отец. Двое услужливых арнаутов взмахнули нагайками. Они хлестали старика по лицу, плечам, голове. Он не защищался, только прикрыл глаза. На седой щетине его лица показалась кровь. «В чем вина этого человека, бек?» Я сознательно крикнул по-русски. И по-русски получил ответ: «Его вина понятна каждому: не надо было рождаться болгариним. А ты кто? Поп?» – «Я представитель Русской православной церкви и сейчас возвращаюсь в Россию из Константинополя, – сказал я. – Фирман султана разрешает мне беспрепятственный проезд». В это время его воины подошли к моей карете с намерением обшарить и ограбить ее, как ограбили дом. Еще мгновение – и они открыли бы дверцы. «Назад! – закричал я. – Мое имущество неприкосновенно! Я повелеваю именем его величества султана!» – «Оставьте его карету, – приказал бек. – К сожалению, мы еще не воюем с Россией. Но берегись, монах, попасть ко мне в руки, когда это случится!» Я мысленно возблагодарил Господа, увидев, что черкесы отходят от кареты. А допрос тем временем продолжался. «Как зовут твоего сына, старик?» Старик молчал. «Это он, он! – суетливо кричал переводчик. – Его сына зовут Стойчо, я знаю эту семью!» – «Зато эта семья не знает тебя, иуда», – сказал старик и плюнул под ноги переводчику. Над ним вновь взвились нагайки, но бек остановил арнаутов. «Мы ищем убийцу, которого зовут Стойчо. У него рассечена голова, за это его уже прозвали Меченым. Три дня назад он зарубил турецкий патруль в горах. Я спрашиваю тебя, старик, что ты знаешь о Стойчо Меченом? Подумай, прежде чем солгать. А пока мои люди поищут твоих дочерей, может быть, это развяжет твой поганный язык. Где твои дочери, старуха?» – «Они ушли, они далеко отсюда. – Мать пала в ноги, ползала в пыли, пытаясь поцеловать сапог черкеса. – Эфенди, пощади нашу старость! Мы смиренные люди, эфенди, мы ни в чем не виноваты!» – «Болгары не бывают невиновными, – сказал бек. – Лучше добровольно покажи, где прячешь дочерей, старая ведьма!» – «Их нет здесь, нет, эфенди!» – «Тогда мы найдем их сами». Бек подал знак, и дом вспыхнул, подожженный со всех сторон. Онемев от ужаса, отец и мать смотрели, как пламя пожирает их жилище, а заодно и дочь, спрятанную в нем. «Молись! – властно крикнула мать, заметив, как вздрогнул и шагнул к дому старик. – На колени!» Она рухнула на колени и начала горячо, неистово горячо молиться за упокой сгоравшей заживо дочери. Старик дрожал крупной дрожью, а черкесы с живейшим любопытством смотрели на бушующее пламя. Из дома раздался душераздирающий крик ребенка. Черкесы засмеялись, а мать продолжала молиться: она предпочитала мученическую смерть дочери ее бесчестью. Но отец не выдержал. Пользуясь тем, что на него не обращали внимания, он схватил тяжелую дубину и занес ее над головой. Черкес, над которым взметнулась она, успел вырвать из ножен шашку, но шашка разлетелась пополам, и узловатая дубина обрушилась на его голову. Черкес упал, и в тот же миг полдюжины шашек блеснули в воздухе. Они со свистом и яростью полосовали упавшего наземь старика, кровь брызгала во все стороны, трещало пламя, все еще нечеловечески кричала сгоравшая заживо девочка, а старуха... Нет, она уже не молилась. Поднявшись на ноги, она извергала проклятья! Блеснула шашка, седая голова старухи покатилась с плеч, и это было последним, что я увидел. Я потерял сознание и упал в лужу крови рядом с изрубленным в куски отцом.

Когда я очнулся, черкесы уже ушли, захватив с собой раненого сообщника. Я поднялся и только тогда увидел, что рядом с обезглавленной матерью молча стоит на коленях старшая дочь, распустив по плечам длинные черные волосы. Я сказал ей, что мы возьмем ее с собой, но она отвела руку, которой я коснулся ее плеча, подняла с земли обломок черкесской шашки и коротко обрела свои роскошные косы. «Я буду мстить, – сказала она. – Клянусь тебе, мать,

тебе, отец, тебе, сестра. Я буду мстить за вас и за Болгарию, пока не отрастут мои волосы». И ушла в горы. Мы кое-как разворошили догоравший дом, извлекли оттуда останки несчастного ребенка и с честью похоронили трех мучеников в одной могиле. На пожарище я нашел этот крест и тогда же надел на себя. А в этой рясе я был там, на постоялом дворе, пятна на ней – это кровь болгарских мучеников, наших братьев и сестер!..

Отец Никандр замолчал, но в зале уже не было тишины. Рыдали женщины, хмуро, скрывая волнение, покашливали мужчины, и глухой гул перекачивался из конца в конец. Выждав длинную паузу, священник снова поднял руку:

– Трагедия Батака и безымянного двора, быть свидетелем которой меня поставил Господь, неожиданно вновь всплыла передо мной на страницах одной из румынских газет. Вот что там говорилось. – Он достал газету и начал читать: – «По сообщениям осведомленных турецких источников, подтвержденным болгарскими беженцами, в Болгарии на территории горного массива Стара Планина действуют хорошо организованные отряды инсургентов. Особую популярность среди болгарского населения завоевал некий Стойчо Меченый, ярость и отвага которого наводят ужас на местные турецкие власти». Слава тебе, мститель за муки Болгарии, Стойчо Меченый! Молю Господа Бога нашего, чтобы продлил Он дни твои на земле и вложил в твое сердце еще более яростную ненависть к палачам твоего народа. Знай же, что мы, твои русские братья, будем не только молиться, но и готовиться. Готовиться к тому знаменательному дню, когда великая Россия придет на помощь православной Болгарии, изнемогающей под гнетом мусульманской Порты! Да будет так!

Отец Никандр осенил себя широким крестным знаменем и торжественно поцеловал тусклый наперсный крест. И зал словно взорвался. Вскрикивали с мест, кричали, плакали, потрясали кулаками. Это было похоже на массовое сумасшествие, если бы не та искренность, с которой выражала взбудораженная публика свои чувства.

– Мщения! – кричал багровый полковник, потрясая кулаком. – Мщения!

– Жертвую! – басом вторил дородный купчина, и слезы текли по окладистой ухоженной бороде. – Капиталы жертвую на святое дело! Жертвую, православные!

– Подписку! Организовать подписку! Всенародно!

– Петицию государю! – кричали молодые офицеры. – Петицию с просьбой о добровольческом корпусе!

– Все пойдем! Все как один!

Гавриил кричал со всеми вместе. Он вдруг позабыл и о мадемуазель Лоре, и о рыжеусом артиллеристе-сопернике, он был весь во власти высокого и прекрасного вдохновения. Протолкавшись сквозь ряды кричавших мужчин и рыдавших дам, он пробрался к сцене, решительно отодвинул шагнувших к нему членов Комитета и опустился на колени перед отцом Никандром.

– Отче! – громко и четко сказал он, перекрыв шум, и зал невольно примолк. – Благословите первого русского волонтера, отче.

2

Патетический жест офицера неожиданно для него получил широкую известность. Проталкиваясь к сцене, Олексин и не думал о последствиях: его захватил всеобщий порыв, восторженный пафос публики. Его обнимали, благодарили, целовали, ему жали руки – и все это прилюдно, все это в напряженном поле человеческих чувств, единых и искренних, по крайней мере, в этот момент. Он был тут же введен в члены Славянского комитета, корреспонденты наперебой расспрашивали его о том, что было и чего не было, что будет и чего не может быть; он стал вдруг центром кристаллизации уже подготовленного, уже перенасыщенного раствора. Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен посторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними

законами общественного движения и теперь уже не мог самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого.

И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его «святой порыв», не вызвала неудовлетворения командования, хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров. Олексин ожидал бури, и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте. Поручик тут же явился и отпартовал. Командир полка, седой и кряжистый, как заиндевевший дуб, неодобрительно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы – признак, не предвещающий ничего хорошего.

– В газетки попали? И полк упомянут полностью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе?

Гавриил коротко обрисовал ситуацию и в двух словах – свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить эту тему впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам.

– Не одобряю, – пробасил он. – В наше время эдакого не случалось. А уж коли случилось бы – адью! Скатертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, за сдержанность хвалю. Только уж коли назвались груздем, так первым в кузовок полезайте, первым, поручик. Еще раз – молодец.

Общественная деятельность настолько поглотила Олексина, что все его дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забыл о мадемуазель Лоре, в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед. Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта, потом... потом – женская месть, избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста: Лора постоянно бывала с ним в тех же местах, где знали и Гавриила, отчаянно веселилась и отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит новоявленного общественного деятеля. Однако Олексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их. Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею – кстати, и партия была вполне подходящая, – а потому и решил действовать сам и выбить противника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба; рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки.

Да, Гавриил очень гордился службой в привилегированном московском полку. Ему нравилась форма, он любил строй, разводы и ученья и искренне плакал от восторга и умиления, впервые присутствуя на высочайшем смотре. Он мечтал о карьере и славе, о чинах и наградах, о благосклонности государя и любви товарищей по полку. Он свято верил, что добьется того положения, которого не добился его отец, скандально уволенный в отставку по строптивости характера, и уже преуспел по службе, исполнив почетное поручение и получив чин поручика. Он был хорошим товарищем и примерным офицером, офицером на виду, с множеством полезных знакомств, несмотря на просчеты домашнего воспитания, отсутствие связей и тощий кошелек. И даже разовый, позорный, по сути, мальчишеский проигрыш в карты в самом начале карьеры, о котором он всегда вспоминал с приливами запоздалого стыда, оказался плюсом в его офицерской биографии, укрепив за ним славу беспутного малого, для которого деньги существуют постольку, поскольку их можно проиграть. Из всех сил тянулся за родовитыми офицерами, хватая на лету их словечки и привычки, манеру говорить, походку, даже клички лошадей. Временами казалось, что у него уже ничего не осталось своего, что он словно бы растворился в среде, которую имел все основания считать своей, которой поклонялся и кото-

рой восхищался. Ему почудилось, что после удачной командировки и внезапного общественного взлета он уже стал равным им – им, швыряющим десятки тысяч на любовниц и кутежи, проигрывающим состояния в карты и покупающим лошадей за баснословную цену только для того, чтобы завтра же загнать их на первой же скачке. Так чудилось ему, чудилось, пока...

– Господа, я вычитал любопытнейшую штучку. Оказывается, помесь жеребца с ослицей – кровного, заметьте, жеребца с робкой рабочей скотинкой – называется лошаком! Смешное словечко, господа, не правда ли? Лошак! Он наследует жеребьячью силу и ослиную тупость, а посему абсолютно незаменим в обозе. Но не в армии, господа, отнюдь не в армии!

Это было в офицерской компании, шумно обсуждавшей только что вспыхнувшее восстание в Сербии. Опоздавший Тюрберт, наплевав на сербские дела, прямо с порога выложил почерпнутые из словаря сведения, в упор глядя на Гавриила. Все почему-то начали смеяться и острить, и Олексин смеялся и острил, хотя сразу понял, в чей огород полетел камешек, и лицо его запылало помимо воли. Но он изо всех сил смеялся и изо всех сил острил, стараясь не встречаться с Тюрбертом взглядом и все время ощущая, что рыжий подпоручик смотрит на него, насмешливо улыбаясь. Тогда у него хватило выдержки не понять, и Тюрберт отложил второй залп. Он произвел его через три дня – уже в другом доме, в присутствии мадемуазель Лоры.

В этот вечер Лора упорно не замечала Тюрберта, отдав все свое обаяние, внимание и кокетство Гавриилу, специально ради нее пришедшему сюда. Жертва была велика, Лора оценила ее и пыталась не просто отблагодарить, но и закрепить свой первый успех в борьбе с общественной деятельностью потенциального жениха. Тюрберт учел ситуацию и решил идти ва-банк.

– Пахнет лошаком, господа, неужели не ощущаете? Странно. Этаким специфический запах: смесь навоза, щей и сивухи. Кстати, Олексин, отчего бы вам не сволонтерить в Сербию?

Если бы Гавриил сумел не расслышать этих слов или, на худой конец, дал бы подпоручику пощечину! Но он не сделал ни того, ни другого. Он растерялся, покраснел и тут же ушел, ничего никому не объяснив. И лишь на другой день прислал Тюрберту форменный вызов.

– Я бы подстрелил Олексина не без удовольствия, но боюсь, господа, что может пострадать честь дамы, – сказал Тюрберт присланным секундантам. – А своему другу порекомендую послужить в обозе на благо отечества: на лошаках хорошо пушки возить.

При первом же намеке на Лору Гавриил отказался от вызова, и после этого оставалось лишь уйти в отставку: кодекс чести не прощал офицеру, ставшему мишенью острот, если офицер этот не находил приличного предлога для дуэли. Олексин его не нашел, получил афронт и покрыл себя позором. Оставался последний выход – Сербия; он подготовил этот выход публичными заверениями и общественной суетой. Поставить крест на военной карьере во имя спасения братьев-славян от османского ига – выход, не требовавший объяснений, а их-то Гавриил и боялся пуще всего.

Объяснений и впрямь не требовалось, но отставки ему не дали. Пришлось переписать рапорт и вместо отставки получить годичный отпуск «по семейным обстоятельствам». Он согласился на него, втайне решив через год все же настоять на окончательной отставке.

А поездка в Сербию все откладывалась и откладывалась. И вместо того чтобы ехать самому, Олексин встречал, провожал, поздравлял и напутствовал тысячи русских волонтеров, сплошным потоком ринувшихся в далекую и незнакомую Сербию. Ехали офицеры и студенты, рядовые казаки и отставные полковники, мещане и земские деятели, купеческие сынки и крестьянские дети. Ехали «мстить нехристям» и с оружием в руках отстаивать чужую свободу; ехали за крестами и карьерой; ехали из любознательности и из равнодушия; ехали посмотреть мир или просто хоть на время удрать из родного отечества, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ветер борьбы вдали от голубых мундиров. Ехали все, кто хотел и кто мог, – не ехал лишь поручик Гавриил Олексин. Волонтер номер один.

3

В эту ночь в последний раз пели соловьи. По смоленской традиции девушки выходили в сады и слушали последние песни, млея от восторга и ожидания. В полночь бдительные мамыши отправляли их спать, но девушки все равно не спали, слушая соловьев в постелях и до утра мечтая о женихах. Непременно статных, красивых, удачливых и добрых.

Варе Олексиной никто не приказывал идти спать: в их городском доме она оставалась единственной хозяйкой. И недавно представленному ей молоденькому прапорщику, стоявшему на квартире в пустующем купеческом доме, тоже никто не приказывал. Молодые люди, восторгаясь, долго слушали соловьиные переливы, глядя друг на друга через забор, разделявший сад, а потом слово за слово разговорились, соловьи отошли на второй план, и офицер перепрыгнул через ограду.

– Варвара Ивановна, умоляю вас, не пугайтесь. Позвольте мне постоять подле вас и, если не возражаете, выкурить две папиросы.

Варя испугалась, но не подала виду, решив, что всегда успеет убежать, если молодой человек вздумает вести себя непочтительно. Но прапорщик был вполне корректен, даже застенчив, говорил тихо и интересно, держал себя на расстоянии, и Варя вскоре забыла о своих девичьих страхах. Прапорщик рассказывал о Кавказе, откуда только что приехал, о мирных и немирных горцах, о тоскливой службе в крохотном гарнизоне, куда ему предстояло вернуться всего через несколько дней. Соловьи звенели восторженно и любовно, ночь была нежной и таинственной, а их возраст – возрастом бессонниц, смутных тревог и отважного желания идти навстречу друг другу. И вскоре они уже сидели рядом, и стук их сердец давно уже заглушил все соловьиные трели.

Очнулась она внезапно, как со сна, от далекого тележного грохота, что отчетливо слышался в тихом рассветном воздухе. Оттолкнула прапорщика, вскочила со скамьи, на которой забылась в объятиях, и опрометью бросилась в дом, лихорадочно застегивая кнопки на распахнутом вороте блузки.

– Варя! Варенька, подождите! Два слова, Варенька, умоляю, два слова!

Она не оглянулась, влетела в дом, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней, точно боялась, что прапорщик ворвется следом. И почему-то все время слышала нарастающий тревожный тележный грохот.

С этим грохотом с Киевского шоссе влетела в Смоленск легкая таратайка. Промчалась по пустынной, усыпанной сеном трухой площади, миновала Молоховские ворота, мелькнула на Благовещенской и остановилась у одноэтажного особняка на чинной Кадетской улице. Возница – крепкий мужик с косматой гривой, но аккуратно подстриженной бородой – ударил кулаком в загудевшие ворота:

– Семен!

Неистово залаяли собаки, где-то хлопнула дверь. К воротам степенно шел заспанный дворник. Почесывался, зевал, крестил заросший рот, важно гремел ключами.

– Кого надо?

– Отчиняй, Семен!

– Захар Тимофеич? – Дворник, забыв и сон, и степенность, засеменил к воротам. – Сейчас, сейчас. Спозаранку прибыли, Захар Тимофеич, ночью, стало быть, из Высокого-то выехали. Ай, лошадку загнали, ай! Дело, стало быть, срочное? А барышня спит и не чаёт...

Без умолку говоря и не заботясь при этом, слушают его или нет, Семен открыл наконец огромный ржавый замок, сдвинул засовы, распахнул заскрипевшие ворота.

– Здравствуйте вам, Захар Тимофеич!

– Аня померла. – Захар снял картуз, вытер изнанкой мокрое лицо. – Аня наша померла вчера, Семен.

– Господи! – Крупное заросшее лицо дворника задрожало, и, чтобы скрыть эту дрожь, он по-бабы прижал ладонь ко рту. – Анна Тимофеевна? Господи, Боже ты мой, Господи! Упокой душу рабы твоея.

– Отмучилась заступница наша, – дрогнувшим голосом сказал Захар и тут же, словно злясь на себя за секундную слабость, крикнул сердито: – Ну, чего рассоплился? Коня прими, выводи да не напои с похмелья-то! Смотри у меня!

Крупно, по-хозяйски зашагал к крыльцу. Не доходя, швырнул кнут в клумбу с отцветающими пионами, взошел по ступеням и скрылся за тяжелой дверью, держа в кулаке смятый картуз.

В доме уже проснулись. Полная экономка в капоте и старинном чепце, услышав новость, затряслась, замахала руками.

– Полно, Марфа Прокофьевна, не вернешь. – Захар помолчал, теребя картуз. – Буди барышню.

Барышня вышла сама. Остановилась в дверях, вцепившись в косяки:

– С мамой?

– Нету маменьки, Варвара Ивановна, – глухо сказал Захар. – Нету больше сестрицы моей Анны Тимофеевны.

И тяжело, грузно опустился на стул, чего никогда не делал в присутствии барышни Варвары Ивановны Олексиной.

Варя не закричала, не вздрогнула, только лицо ее, став блее блузки, словно опустилось, поехало вниз, к закушенной губе и отяжелевшему вдруг подбородку. Она ни о чем не спрашивала, пристально, не моргая глядя на Захара огромными материнскими глазами.

– Вчера еще песни играла. Потом полоть пошла. Знаешь, там, у пруда, где огороды заложили.

– Полоть! – неожиданно громко и резко сказала Варя. – Ей ведь нельзя полоть, нельзя работать.

– Да нешто это работа, – вздохнул Захар: ему не дышалось, и он все время вздыхал. – Это ж так, в потеху. Разве ж мы дали бы ей? А тут только нагнулась и – в ботву.

Дом уже полностью проснулся: хлопали двери, шуршали юбки, скрипели половицы. В задних комнатах кто-то плакал, все говорили шепотом, и только резкий голос Вари звучал громко и отрывисто:

– Врача догадались?

– Сразу же за лекарем послали: у господ Семечевых лекарь из Петербурга гостит. Приехал вскорости, да не помог: к вечеру преставилась.

Захар замолчал, ожидая вопросов, но Варя больше ни о чем не спрашивала, все так же пристально глядя на него. Из всех дверей выглядывали женские лица.

– К полудню привезут, – сказал он, поняв ее молчание. – Подготовить все надо.

– Телеграммы, – опять перебила Варя. – Батюшке и Гавриилу в Москву, Феде в Петербург, Васе в Америку. В Америку телеграммы принимают?

– Не знаю, барышня.

– Узнаешь на телеграфе. Со станции отправляй, оттуда скорее доходят. Идем, я запишу адреса.

Варя оторвалась от косяков, качнулась. Захар вскочил, чтобы поддержать ее, но она отстранилась и пошла вперед, чуть откинув голову над прямой, как струна, спиной.

Они прошли в тесный кабинетик, где стояло старинное бюро, шкафы с книгами и уютное кресло, в котором лежал раскрытый журнал. Варя сразу начала писать, а Захар остановился в дверях.

– Прими журнал и садись, – сказала она, не оглядываясь. – Как написать, когда будем?..
– Она замолчала.

– Хоронить-то? – Он подумал. – Раньше субботы не получится. Из Москвы сутки езды, а из Петербурга да с пересадкой еле-еле в трое суток Федя управится.

– Я пишу всем одно. В четыре адреса: два в Москву, один в Петербург и один в Североамериканские Соединенные Штаты.

– А зачем в Штаты телеграмму? Вася все одно к похоронам не успеет, для чего же пугать? Может, письмо? Письмо спокойнее.

– Письмо? – Варя по привычке покусала нижнюю губу. – Пожалуй, ты прав, письмо лучше. Я напишу, а ты ступай на телеграф. Коня сильно загнал?

– Это есть.

– Возьмешь мою пару. Распорядись там. – Она протянула синеватый листок дорогой глянцево́й бумаги. – Отправишь со станции.

Он покивал, соглашаясь. Первые распоряжения были отданы, и вместе с ними словно бы закончились и их деловые отношения. Они оба почувствовали это, вновь ощутили утрату и пустоту, ту страшную пустоту, что рождает такие утраты. Хотелось что-то сказать, утешить, ободрить или просто поплакаться, но это было и невозможно, и ненужно, и они молчали, стоя друг перед другом.

– Ну, ступай, – тихо и мягко сказала Варя. – Ступай, мне одеться надо.

– Поплачь, Варя, – вдруг глухо сказал он, опустив кудлатую голову. – Поплачь и за упокой помолись. Полегчает.

– Хорошо, – сказала она, словно не слыша его. – Месяц до сорока не дожила. Как странно все.

Захар вздохнул, закивал горестно и пошел через залу к выходу, стуча подковками новых сапог по натертому паркету.

Варя прошла к себе, в смежную с кабинетом комнату. Остановилась в дверях, крепко обняв плечи скрещенными руками и незряче глядя на несмятую постель. На этой постели всегда спала мама в редкие приезды из усадьбы. Тогда Варя стелила себе на диване, что стоял тут же, у противоположной стены, и они говорили с мамой до глубокой ночи.

Мама не любила город, терялась в нем и даже не ездила за самыми необходимыми покупками. Дети унаследовали от нее эту сковывающую застенчивость, но Варя пошла в отца, только глаза были мамины. Она единолично распоряжалась домом с той поры, как кончила пансион: вела хозяйство, делала покупки для усадьбы в Высоком, следила за уче́нием младших братьев и сестер, регулярно писала старшим и отцу, хотя отец никогда не отвечал на письма, ограничиваясь скупыми поздравлениями на Пасху и Рождество.

Варя была центром их огромной разбросанной семьи, но душой этой семьи всегда оставалась мама, маленькая тихая женщина, до самой смерти не разучившаяся краснеть в присутствии посторонних. Мама безошибочно находила самые простые и теплые слова, самые неопровержимые аргументы, а советовать умела так, что совет этот воспринимался как вдруг возникшее собственное решение. Так было с Гавриилом, проигравшим в карты довольно кругленькую сумму, так было с Василием, попавшим под надзор III Отделения, так было и с самой Варей, еще девчонкой безоглядно влюбившейся в залетного офицера. Долгую зимнюю ночь они проплакали тогда с мамой на этой постели, а утром Варя уехала в Псков к тетке, оставив офицера в растерянности крутить лихие гусарские усы.

Отец никогда не принимал участия в жизни семьи. Прожив с ними бок о бок до рождения младшего – десятого по счету – ребенка, он так и остался чужим: Варя помнила только его бесконечные отъезды. У него была своя половина в доме, свои слуги, свои лошади, собаки, и даже обед ему готовил специально выписанный повар, а не их добрая, толстая, мало что умевшая кухарка. С детьми – а он занимался с детьми, когда был дома, два часа утром и час передужи-

ном, – с детьми он держался всегда ровно, спокойно и строго. Одинаково ровно и одинаково строго со всеми, никого не выделяя: у него не было ни любимчиков, ни любимых, хотя как-то по-своему он их, конечно, любил, и дети чувствовали это и тоже относились к нему ровно и спокойно. Впрочем, он никогда не отказывал им в тех просьбах, которые считал разумными: в книгах, игрушках, детских балах или нарядах. Но любая личная просьба всегда превращалась им в общую потребность: если Гавриил просил ружье, то ружье получал не только он, но и не просивший этого Василий; если Варе хотелось щенка, то щенков оказывалось два, а то и три – и Варе, и Феде, и Володе, хотя Федя и Володя об этом и не думали. И эта причуда не только лишала подарок индивидуальности и неповторимости, но заодно и радости, и дети как-то сами очень скоро отучились просить подарки у никогда не отказывающего отца.

Если у отца была редкая способность превращать подарки в ординарную вещь, то мама самые обычные вещи умела делать подарками, будь то крестьянские бабки или первый цветок, бантик на платье или горстка земляники. Даже сказки на ночь она рассказывала, никогда не повторяясь, интуитивно чувствуя настроение маленького слушателя. И одна и та же сказка выходила у нее то грустной, то радостной, то страшной, то веселой и поэтому всегда неожиданной. И если у каждого в детстве были свои радости, свои сказки и свои подарки, то были они только потому, что была мама.

Отец был общим для всех; мама для каждого была своя. Неповторимая и единственная мама.

И вот мамы не стало. Не стало самого незаметного, самого тихого члена семьи и, как ощутила сейчас Варя, самого главного ее члена. В каждой семье есть этот главный, есть ось, вокруг которой вращаются все, со смертью которого неминуемо разлетается самая крепкая и дружная семья. И Варя, еще ничего не осознав, уже предчувствовала этот неудержимый разлет. Предчувствовала грядущую пустоту гнезда, хранить которое отныне предстояло ей. И ужас перед этой сегодняшней утратой и завтрашней пустотой был столь ошеломляющ, что она рухнула ничком на постель, захлебываясь от рыданий.

Выплакавшись, Варя немного успокоилась. Оделась в темное, застелила постель – они сами ухаживали за собой, и не только мама, но и отец следил за этим, – распахнула окно, но тут же закрыла его: в дворницкой по-старинному, по-псковски выла Агафья. Варя хотела было послать туда горничную с приказом замолчать, но вовремя одумалась: дворня была вся вывезена с Псковщины, из маминой крохотной деревеньки, где все были родственниками. И оплакивали они сегодня не просто добрую и тихую барыню, а свою родную деревенскую девчонку, ставшую госпожой по прихоти опального гвардейского офицера.

Варя вышла распорядиться, но в доме и так уже готовились к приему покойницы. Занавешивали зеркала в зале, зажигали лампы, застилали паркет половиками. Дворник Семен привез еловые ветки и охапки вереска, и Варя вместе с девушками усыпала вереском полы.

Занимаясь этими простыми делами, Варя все время прислушивалась, не скрипят ли ворота, и по привычке поглядывала на часы, но часы в зале были остановлены, а возвращаться в свою комнату ей не хотелось. Она ощущала движение времени, и приближающаяся встреча с тем, что когда-то было ее матерью, все больше и больше пугала ее. Страх копился, нарастал, и в конце концов она уже ничего не могла делать, а только ходила по комнатам, напряженно прислушиваясь ко всем шумам.

Но раньше вернулся Захар. Он не только отправил телеграммы, но и договорился в соборе о панихиде, в Троицком монастыре – о чтцах и в ресторации Мачульского – о деликатесах и винах к поминкам. Он был толковым и грамотным мужиком, никогда не забывал о мелочах и слыл толковым управляющим. И даже смерть единственной и любимой сестры не нарушила его привычной хозяйственной деловитости. Это обстоятельство вызвало у Вари досаду.

– Хорошо, хорошо, – перебила она его, не дослушав. – Только бы Гавриил приехал поскорее.

Она говорила о Гаврииле, а думала о Василии, который никак не мог приехать из далекой Америки и долго еще не узнает, что семья их внезапно осиротела. Думала не потому, что Василий был всего на год старше ее, а потому, что дружила с ним и знала как никто, как, может быть, знала только мама, его обостренное, болезненное чувство справедливости, даже и не чувство, а чутье. Для всех остальных он был немного чужаковатым, непрактичным и увлекающимся юнцом, предметом язвительных насмешек старшего брата, и только. И даже его торопливый отъезд за границу всеми воспринимался как побег, и лишь она одна знала, что дело здесь не в страхе перед III Отделением, а в высших идеалах добра и справедливости. Она не очень понимала и поэтому не разделяла эти идеалы («Да ведь разорвут эту вашу коммуны, Вася!»), но твердо была убеждена, что ее брат не способен ни на трусость, ни на подлость. Не способен физически, под страхом лютых мучений и самой смерти.

Иное дело Гавриил. Варя всегда считала, что она в отца, что от матери у нее только глаза, но отцовской копией в семье был старший. Сейчас, без толку блуждая по комнатам, прислушиваясь к шумам во дворе и сравнивая братьев, Варя понимала, что ее сходство с отцом только внешнее, кажущееся. И именно поэтому с тоской вспоминала далекого Василия и страшилась предстоящего свидания с Гавриилом. Слишком уж он казался ей сухим, надменным и язвительным.

Захар уговорил ее поесть, и Варя нехотя, через силу, села выпить чаю. Но тут заскрипели ворота, заголосила Агафья, и Варя кинулась к дверям со стаканом, лишь на крыльце отдав его Дуняше.

Первой во двор въехала широкая крестьянская телега. Подле с вожжами шел староста Лукьян, а на телеге рядом с гробом сидели, держа на коленях фуражки, почерневшие то ли от загара, то ли от горя и бессонной ночи Володя и Ваня. А из коляски, что остановилась у ворот, уже спешили к крыльцу Маша и Георгий; младших, как видно, не взяли.

Телега остановилась, братья прыгнули с нее, и все вокруг молчали, потому что молчала Варя, все еще неподвижно стоя на крыльце. Лукьян шагнул к ней, оглянулся растерянн на тихо плакавшую дворню и спросил:

– Прикажете вносить, барышня?

– Как же... Как же могли на телеге? – задыхаясь от слез, тихо спросила Варя. – Как же могли, как смели...

– Ну, полно, Варенька, полно, – сказала Маша, поднявшись на крыльцо и обнимая сестру. – Не влезает он в карету, пробовали.

«Он» был гроб, в котором под глухой крышкой лежала мама. И Варя сразу все поняла и сошла с крыльца.

– Вносите.

И вновь запричитала Агафья, словно ждала, когда Варя скажет это слово. Захар, Лукьян и Семен направились к телеге, братья, сунув фуражки Маше, пошли им помогать, а Георгий прижался к Варе, уткнувшись ей в колени.

– Мамочку жалко...

– Взяли! – коротко выдохнул Захар.

Гроб взмыл вверх, качнулся и поплыл к крыльцу, невесомо лежа на крутых мужицких плечах: Владимир и Иван лишь держались за него, идя впереди. Семена и толкаясь, мужики поднялись на крыльцо, перехватив гроб с плеч на руки, и, теснясь, боком миновали дверь. Следом молча шли Маша, Варя и маленький зареванный Георгий.

Глава вторая

1

Гавриил получил телеграмму перед обедом; по счастью, догадались переслать из полка, куда она была адресована. Трижды перечитал: «Мама скончалась похороны субботу», поднял растерянные глаза на хозяйку, что торчала в дверях, стгорая от любопытства. Поймав его взгляд – вдовушка была молода и взгляды ловила жадно и преданно, – качнулась полным станом:

– Подавать, Гавриил Иванович?

– Что? – Он аккуратно сложил телеграмму, пытаясь собраться с мыслями. – Мне в полк надо. Вызывают.

Он боялся ее жалости, чувствуя, что может не выдержать. Прошел к себе, торопливо переоделся, прицепил саблю. И тут же сел и закурил, рассеянно уставившись в одну точку.

Ему казалось, что он думает о матери, но он ни о чем не думал. В голове, сменяя друг друга, мелькали какие-то случайные разрозненные воспоминания. То он видел себя еще маленьким на мосту, с корзиной для ягод. Он замахивался на огромную, какие бывают только во сне и в детстве, бабочку, и корзиночка падала в воду и плыла, и кто-то во всем светлом, добрый и ласковый, доставал эту корзиночку. То он видел себя на качелях и взлетал ввысь, к самой перекладине, и вдруг сорвался, и кто-то в светлом, добрый и ласковый, поднимал его, испуганного, с земли. То он видел бабки – простые, ничего не стоящие косточки, игра крестьянских ребятишек, – и кто-то в светлом, добрый и ласковый, протягивал ему их.

Этим светлым чудом, добрым и ласковым, была мама. Он знал, что это мама, но почему-то именно сейчас ему никак не удавалось увидеть ее лицо. Он лихорадочно ворошил вдруг нахлынувшие детские воспоминания, но там, где он искал, мама была без лица. Это было просто нечто доброе и очень ласковое, само воплощение доброты и ласки, но лица у нее не было. Вероятно, оно появилось бы в других воспоминаниях, более поздних, когда он уже подрос и научился видеть, а не только смотреть. Но эти иные картинки сейчас не хотели возникать в его памяти, мама не приходила, а двадцатичетырехлетний офицер чувствовал себя совсем маленьким и совсем забытым.

За дверью вздохнули робко, но томно и многозначительно, и этот рассчитанный женский вздох вернул Гавриила к действительности. Он погасил папиросу и встал. Он решил уже не только ехать к отцу с этим известием, но и выдержать бурю.

Сказав хозяйке, что пришлет за вещами, Гавриил вышел на улицу. Отец жил довольно далеко, на Пречистенском бульваре, но Олексин у Спасской взял лихача.

Дверь открыл не Игнат, старый камердинер отца, а лакей Петр, важный, толстый, ленивый, слушавший только самого барина. Гавриил молча отдал ему саблю и перчатки, прошел в столовую и так же молча поклонился отцу, уже сидевшему за прибором.

– Обедать? Нет? Садись. – Отец говорил отрывисто и глядел в сторону, сдвинув седые брови. – Хочешь рябиновой? Я что-то приистрастился. Вино дрянь стало, кислятина.

– Мама умерла, – сказал Гавриил, помолчав. – Я депешу получил от Вари.

– Кислятина, – строго повторил старик. – Налей барину рябиновой, Петр. У меня раковый суп. Поцусь. Удивлен? Впрочем, если хочешь бульону...

Он вдруг замолчал. Чисто выбритый кадык его круто пошел вверх, странно задержался, и старик торопливо стал гладить седые усы, чтобы скрыть это судорожное движение. Потом сердито махнул и, когда Петр вышел, поднял рюмку чуть заметно вздрогнувшей рукой.

– Помянем, поклонимся и Господа помолим мысленно. – Он большими глотками осушил рюмку. – Удивительно. И несуразно. Несуразно, Гавриил.

Он торопливо, расплескивая на скатерть, налил себе еще, выпил, пожевал корочку и откинулся к спинке стула, прикрыв старческие дряблые веки.

– А вы получили?.. – начал было Гавриил.

– Хорошо! – вдруг крикнул старик. – В эпоху всеславянского единения и православных идей пить рябиновую весьма патриотично. Знаменует русский дух. При выходе особенно. Петр! Подавай.

Он в упор глянул на Гавриила странными, отсутствующими глазами. Словно тяжело и упорно думал о чем-то совсем ином, мучительном и сладком одновременно, а шумел и ерничал просто так, для прикрытия собственных дум. Он никогда не допускал никого в царство своих размышлений и переживаний, думал не то, что говорил, и не говорил, что думал.

– Ты почему здесь? Ах да, отпуск. Надолго испросил?

– Надолго, – сказал Гавриил.

– А Черняев-то бежит! Бежит от нечестивых аскеров султана! – с какой-то злой радостью неожиданно сказал старик, и Гавриил испугался, не читает ли отец его мысли на расстоянии. – Мальбрук в поход собрался. Тебе, связанному с Комитетом, поди, вдвойне обидно, а?

– Генерал Черняев самоотверженно служит великой идее, – нехотя сказал Гавриил: не хватало еще спорить о политике в этот день. – Он рыцарь.

– Он легкомысленный искатель лавров, – перебил отец. – Ему наплевать на ваши идеи, и на султана, и на Сербию, ему наплевать на всё и на вся. Ему нужны лавры Цезаря: лучше быть первым в Сербии, чем вторым в Петербурге.

– И все же он был единственным, кто не бросил Сербию на произвол судьбы. Согласитесь, что одно это достойно уважения.

– Не соглашусь. Нет, не соглашусь! Не бросил по расчету и бросит тоже по расчету. У господ новоявленных крестоносцев сначала расчет, а потом уж вера. Как сухарный запас: на всякий случай. А что до идеи, то идея – плод размышлений, а не моды. На нее надо право иметь, ее надо выстрадать, а уж коли идея не вами высижена, то хоть время-то для приличия соблюдайте, господа! Хоть вид сделайте, что мучились ею, что сомнения преодолевали, что сравнивали ее и выбирали путем умственной деятельности, а не одних ушей. Я сейчас не о Цезаре российском говорю, не о господине Черняеве: бог с ним, с Черняевым! Я о брате твоём говорю, об американце нашем. Добро бы хоть в Америку за барышом поехал – говорят, ловкачи наживаются и даже якобы капитал составляют. Это бы понятно было, хоть и противно: дворянское занятие – шпага, крест да книга, так в старину считалось. В служении отечеству одним из трех этих путей шел русский дворянин, не пачкая рук торговлишкой и душу оборотливостью не смущая. А ныне посмотришь: Господи, дивны дела твои! Рюриковичи с мужиками об отрезках рядятся, Гедиминовичи заводешком обзавелись! А купчина – не воин, из торгаша офицера не сделаете. Нет-с, не сделаете!..

Старик говорил без умолку, путано и непоследовательно, а глаза оставались все теми же мучительно напряженными, ловящими что-то ушедшее. И поэтому Гавриил не спорил, хотя его так и подмывало поспорить и надо было поспорить, чтобы выговорить наконец свое и утвердиться в этом окончательно. Но сейчас было не время.

Обед закончился, и поручик встал, намереваясь откланяться, так как отец обычно отдыхал после трапез с возлиянием. Надо будет еще послать за вещами, но главным сегодня было, пожалуй, то, что не в меру и не к месту разболтавшийся отец раздражал, как никогда прежде.

– Кури здесь, – сказал старик. – А лучше пойдем ко мне.

– Вам следует отдохнуть...

«Следует» было ошибочным словом: старик сдвинул седые брови. Он не терпел советов, а тем паче указаний и умел усматривать их и в более безобидных фразах.

– Следует не давать рекомендаций, если их не просят. Эту бесцеремонность оставьте приказчикам. – Он шел впереди, и толстый Петр еле поспевал открывать ему двери. – Любое бла-

гое намерение останется сотрясением воздуха, ежели не будет высказано в приличной форме. Сожалею, что ваше воспитание не принесло плодов, на кои смел рассчитывать.

Идя следом, Гавриил с тоской думал, что вряд ли успеет обернуться: видимо, старик намеревался скрипеть до позднего вечера. Он жил одиноко, не поддерживая знакомств и не признавая вежливых визитов, много молчал, но иногда говорил без остановки.

Им с детства внушали преклонение перед отцом. Не любовь, не уважение, а почти рабскую покорность, точно они были не законными его детьми, а тайно прижитыми. И отец воспринимал это как должное, не снисходя даже до гнева. Гавриил думал об этом, сидя в кабинете, где каждая книга знала свое место и по прочтении тут же возвращалась на него, где ни один журнал не смел остаться раскрытым даже ненадолго, а газеты выглядели так, будто их никто никогда не читал. От этого кабинет казался скучным и казенным.

– Я не люблю споров, а особенно с женщиной. – Отец не сказал «с дамой», и Гавриил с болью понял, что он говорит о матери. – В спорах с женщиной истина умирает, запомни это и никогда ничего не пытайся доказать прекрасному полу. У них своя логика и свои аргументы, совершенно непостижимые для нас. Вот почему я устранился от вашего воспитания. Я стремился лишь образовать вас, полагая, что воспитание вам сумеют обеспечить если не по велению ума, то по зову сердца. Однако, встречаясь с тобой, Варварой и Василием, я с горечью убедился, что зараза сильнее лекарств. Да, да, сильнее! От вас прямо-таки разит кислыми щами, господа!

Поручик встал, сознательно с грохотом отбросив тяжелое кресло. Слова путались в голове, он не решался сказать того, что думает, а старик молчал, глядя на него с откровенным любопытством. Пауза затянулась, и, чтобы оборвать ее, Гавриил пошел к дверям, так ничего и не сказав.

– Я не отпускал тебя, – негромко сказал отец.

Гавриил медленно повернулся к нему:

– Та, от кого всю жизнь пахло кислыми щами, – моя мать и ваша жена. Она мертва, пусть хоть это заставит вас замолчать. А сейчас разрешите откланяться: я уезжаю сегодня в Смоленск и...

– Вторым классом, – вдруг перебил старик. – Вы едете вторым классом согласно чина и состояния, сударь. Полагаю, что билеты уже взяты.

– И все же я бы хотел...

– Что же касается твоей матери, то ты превратно понял меня. Я не обижал ее живой, не обижу и мертвой. Мертвой. – Он медленно, словно вслушиваясь, повторил это слово. – Если хочешь, буду молчать. Только вернись и сядь. Сядь, Гавриил. Прошу тебя... Мне... мне трудно почему-то. – Он растерянно улыбнулся и развел руками. – Я думал, что смогу... преодолеть смогу. И вот не получилось. Начал болтать, глупый старик. А тут ведь... – он пальцами осторожно потрогал грудь. – Тут ведь боль, сын. Такая боль...

– Батюшка! – Гавриил шагнул к отцу и, опустившись на колено, обнял его. – Простите меня, батюшка.

– Ну, ну. – Старик неуверенно и неумело погладил сына по голове. – Только не реветь. Не реветь, Гавриил, ты офицер. Оставим слезы слабым и помолчим. Помолчим.

Ни сын, ни тем более отец никогда не проявляли чувств, которые старик презрительно именвал кисейными. Но порыв был искренен, и они надолго замерли в неудобных и одинаково непривычных позах, и оба чувствовали и это неудобство, и эту непривычность. Чувствовали, но не шевелились, хотя порыв давно прошел и осталось одно неудобство, выйти из которого было трудно именно потому, что оба одинаково ощущали это.

– Сядь, – сказал наконец старик и покашлял, скрывая смущение. – У меня скверный характер, слава богу, что вы не унаследовали его.

Минута внезапной близости прошла; отец стеснялся ее, хотел забыть и потому снова возвращался к столь привычной интонации иронических сентенций. Гавриила эта минутная близость смущала тоже, но он дорожил ею как завоеванным плацдармом; надо было решиться: то, что уже было сделано без огласки, оставалось как бы сделанным не до конца.

– Я взял годичный отпуск, батюшка, – сказал он. – Пока. А затем подам в отставку.

Он ожидал бурной вспышки, вопросов, но отец молчал. Молча придвинул к себе ящичек с табаком, начал набивать трубку. Табак просыпался, но отец упорно напихивал его, изредка посасывая чубук. Набив, положил в сторону, побарабанил сухими пальцами по крышке ящика.

– Объясни, сделай милость.

– Вы сами дали это объяснение, когда упомянули, что от ваших детей разит кислыми щами. Нет, я не упрекаю: просто так получилось.

– Оставь, Гавриил, я не это имел в виду.

– Но они имеют в виду именно это! – резко сказал поручик. – Извините, но мне надоели шуточки господ гвардейских офицеров.

– Почему не ходатайствовал о переводе?

– Потому что вызвал гвардии подпоручика Тюрберта. А он отказался драться со мной именно в связи со щами.

Старик снова взял трубку, внимательно осмотрел ее и опять отложил. Встал и, заложив руки за прямую, как трость, спину, долго ходил по кабинету. Гавриил смотрел на эту несгибаемую, вызывающе высокомерную спину и жалел, что сказал о дуэли: уход из армии можно было бы объяснить, не вдаваясь в подробности. Но подробности стали известны, и, судя по напряженно выпрямленной спине, отец воспринял их как личное оскорбление.

– Пять веков Олексины служат отечеству мечом, – надменно сказал старик. – Во всех войнах, во всех походах и ни в одном из заговоров. Не чинов мы искали, но чести, и нас скорее уважали, чем любили. Никогда – слышишь? – никогда не ищи любви у сильных мира сего, но требуй уважения, завоеванного тобой. Требуй, но не проси, мы не просили милостей у государей. Ни милости, ни снисхождения, помни об этом.

– Да, батюшка.

– Собираешься за границу?

– Да. Уже выправил бумаги.

– За Василием в Америку?

– Нет. Воевать.

– Ах в Сербию! – Старик рассмеялся. – Мода на идеи? Ну-ну, проверь. Идею нужно проверить, в этом нет ничего дурного. Дурно следовать идее без проверки. Даже не дурно, а глупо. Тебе двадцать четыре минуло?

– Минуло, батюшка.

– Двадцать четыре – и еще не воевал? Непростительная оплошность для российского офицера. Ну что же, благословляю. Себя проверишь, идею свою проверишь. Только обид не забывай.

– Не забуду.

– И голову под турецкую пулю не подставь.

– Как повезет.

– Глупо. Офицер, принимающий в расчет везенье, – плохой офицер.

– Да ведь пуля-то дура, – улыбнулся Гавриил.

– Именно это я и имел в виду. Именно-с. Поди узнай, вернулся ли Игнат, да вели чай подать.

Поручик поклонился и вышел из кабинета. Вопрос, которого он боялся, разрешился проще, чем он предполагал. Конечно, можно было бы уехать без отцовского согласия, и это было бы куда как современно, но Гавриил не любил современности.

Игнат давно прибыл, но сразу же уехал опять – за багажом Гавриила. Поручик сказал, чтобы подавали чай, и вернулся в кабинет. И только сел, как дверь приотворилась и в комнату осторожно заглянул Игнат:

- Ваше благородие, Гаврила Иванович.
- Все сделал? – спросил отец, не поворачивая головы.
- Все исполнил, что приказать изволили. И билеты, и багаж.
- Чай?
- Сей момент: Петр самовар раздувает.
- Хорошо, ступай.

Седая голова Игната втянулась в дверную щель. Потом высунулась рука и таинственно поманила Гавриила.

- Извините, батюшка, – сказал поручик, вставая.

Старик важно кивнул: любил почтение и порядок. И снова окутался дымом сладковатого голландского табака.

Гавриил вышел, прикрыл дверь; в коридоре ждал Игнат.

- Братец ваш приехали. В буфетной ожидают-с.
- Кто? – Гавриил сразу подумал о Василии: американский беглец если бы и рискнул зайти к старику, то искал бы убежища только в лакейской половине. – Василий?
- Никак нет-с, Федор Иванович. Из Петербурга прямо. Без вещей и даже без шляпы. Прямо в чем стоят-с.

Все это старый камердинер докладывал уже на ходу, с трудом поспевая за шагавшим через две ступеньки поручиком.

- О маме знает?
- Не могу сказать. Я не докладывал.

В буфетной худой, заросший Федор жадно ел холодный бульон. Рядом презрительно грохотал посудой Петр, подчеркивая неуважение.

- Здравствуй, студент!
- Брат! – Федор вскочил, торопливо отер рукой редкую бородку, заулыбался. – Я сразу к тебе, хозяйка сказала, что ты в полку, а тут, на счастье, Игнат.

Он все-таки поцеловал Гавриила, хотя тот не любил этого и еще издали протягивал руку.

– Как славно получилось, что Игнат! – восторженно продолжал Федор, держа брата за руку и ласково сияя голубыми глазами. – Знаешь, я ночь не спал и сутки не ел ни крошечки, только кипяток пил на станциях. А как Игната увидел, так очень обрадовался.

– Что же ты Федору Ивановичу холодный бульон подал? – строго спросил Гавриил. – Дал бы жаркое или хотя бы бульон подогрел.

– Они чего-нибудь-с просили, – недовольно сказал Петр. – А чего-нибудь-с – это по-ихнему бульон называется.

– Да славно и так, Гавриил, славно, – еще шире заулыбался Федор, и поручик понял, что никакой телеграммы он не получал и о смерти матери не знает. – Мне ведь голод унять важно, а самое главное – поговорить. Я ведь ехал, чтоб поговорить.

– Ступай отсюда, – сказал Гавриил Петру, Петр раздражал его: он нарочно медленно перетирал посуду. – Ступай, говорю.

- А чай как же? – нахально улыбнулся Петр. – Батюшка ваш чаю велел.
- Ступай, ступай! – замахал руками Игнат. – Велено тебе, так исполняй, ишь какой! Я и посуду сам, и Федору Ивановичу закусок.

– Не надо. – Федор торопливо допил холодный бульон. – Я сыт уже, благодарствую. Батюшка наверху? Где бы поговорить нам, брат?

– В малую гостиную идите, в малую, – заговорщически прошептал Игнат. – Я позову, коль востребует.

Он любил Федора, как, впрочем, и все: Федор был удивительно добр, мягок и ласков. Он был словно влюблен во всех людей, знакомых и незнакомых, радовался им, слушался их и верил безоглядно. Эта вера пугала Гавриила: у Федора с детства словно не было своих личных желаний. То он намеревался стать офицером, с энтузиазмом занимался верховой ездой, стрельбой и фехтованием, мечтая о военном училище, славе и подвигах. То вдруг, прожив месяц в Высоком с Василием, не только изменил первоначальным намерениям, но и решительно отказался от всякой родительской помощи, торжественно заявив, что каждый человек обязан сам зарабатывать себе на жизнь и ученье. С этой благородной идеей он поехал в Петербург, бегал по урокам, жил впроголодь, но жизнью был доволен и писал восторженные письма Варе. И – опять вдруг! – бросил все уроки и приехал в Москву без вещей, без денег и даже без шапки.

Братья прошли в малую гостиную и сели друг против друга. Гавриил думал, как бы помягче сказать о смерти матери, а Федор, улыбаясь, нервно потирал пальцы, не решаясь начать.

– Ты от Вари не получал известия? – спросил Гавриил больше для начала, чем в ожидании ответа.

– Нет, – рассеянно, думая о своем, сказал Федор. – Видишь ли, Гавриил, я вынужден был уехать вот так, как сижу перед тобой: денег еле на билет хватило, а шляпу кондуктору за хлеб отдал. Он, правда, брат не хотел, сердился даже, но я все-таки отдал, потому что нищенствовать не могу. Вася бы сказал – «не поднялся до нищенствования», правда? Но что же делать, у меня еще много пороков, я знаю. А уехал я так срочно потому... Только обещай, что не будешь сердиться, а? Я бы не хотел расстраивать тебя, но надо же говорить сущую правду, иначе жить невозможно. Ты знаешь, как рабочие живут? В казармах на нарах, даже семейные. Вши, голод, грязь ужасная. Я видел все это, я сам с ними три дня прожил, чтобы понять, что невозможно так жить, невозможно!

– Просвещал? – насмешливо спросил Гавриил.

– Нет, что ты, какое там. Евангелие читал, только одно святое Евангелие. Объяснял, правда, что Бог не таким мир земной видел. Да, труд, тяжкий труд, но – равный. Каждый равно обязан трудом, понимаешь? Это же действительно проклятие Господне, это же действительно во спасение наше! Но ведь если люди равны перед этим проклятием, то должно же быть равенство во всем, потому Бог не делал различия между людьми, проклятие это налагая. Тогда почему же одним – проклятие, а другим – плоды этого проклятия? Разве это справедливо? И не надо улыбаться, Гавриил, не надо: каждый человек имеет право веровать, каждый!

– Не побили?

– Побили. Но это не важно. Важно, что следить начали. Ходил за мной круглолицый господин в котелке, я его сразу приметил, но виду не подавал. Зачем же мне пугаться, что он ходит? Пускай себе ходит, я ничего дурного не делаю, пусть убедится, что не делаю. Я Евангелие неграмотным, темным людям читаю: разве ж это преступление? А третьего дня возвращаюсь с фабрики и у ворот встречаю дочку соседскую Глашеньку: у вас, говорит, Федор Иванович, обыск был, перерыли все, вещи все перетрясли и бумаги ваши арестовали. А там среди бумаг...

– Герцен.

– Да, «Колокол», один номер. И две брошюры на немецком, я у товарища почитать взял.

– Что же дальше, господин пропагатор?

– Вот, брат, ты уж сердисься. Не надо, а?

– Я спрашиваю, что было дальше?

– Я к товарищу побежал. Не тотчас, конечно, потому что позади господин этот. Но повезло, что ли: конка последняя шла, на ходу вскочил да на ходу же и выскочил. Господин этот мимо меня и пробежал. Пришел к товарищу, а он, оказывается, уже арестован. Вот тогда я – на вокзал и... Как стоял, так и приехал.

- Что же думаешь делать?
- Я у тебя денег хочу попросить. В долг. Уехать хочу.
- К Василию?
- Я еще не решил. Мне все равно, лишь бы маменьку не волновать.
- Маменьку. – Гавриил вздохнул. – Мама скончалась, Федя.

Узкое, неряшливо заросшее лицо Федора дрогнуло, замерло на мгновение и тут же осветилось мягкой белозубой улыбкой.

- Нехорошо, брат! Шутишь ты...

Гавриил молча протянул телеграмму. Федор читал долго, чуть шевеля губами, и чем дальше читал, тем все ниже сгибалась, сутулилась его узкая неокрепшая спина. Он уронил на колени руки с телеграммой, поднял лицо: по мягкой юношеской бороде текли слезы.

- Как же так?

– Вот... – Гавриил почувствовал, как поднимаются и в его груди слезы, как захватывают они его все выше и выше, сжимая горло, и торопливо закурил. – Осиротели мы, Федя. Одна мама умерла, а осиротели все десять. Даже одиннадцать...

Выехали втроем; отец ни о чем не спрашивал и появление Федора встретил как само собой разумеющееся. И больше не разговаривал, словно выговорился, устал и говорил теперь молча то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым. Шевелил изредка губами, несогласно вздергивая седой головой. Братья тоже молчали. Они ехали во втором классе, сидели рядом и думали об одном. О матери.

А поезд тащился медленно, подолгу отдуваясь на станциях. Выходили в буфет, пили невкусный чай, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами.

С каждым часом приближался Смоленск, а значит, и последнее свидание с той, которую так по-разному любили все трое. И свидание это пугало, отнимая последнее желание говорить, спать или пить в буфете чай.

С каждым часом приближался Смоленск...

2

Встречал один Захар. Это не понравилось отцу, он хмуро кивнул и руки не подал.

- А Варвара что ж?

– Ночь не спала, только задремала, Иван Гаврилович. Не решился будить, – сказал Захар, укладывая багаж. – Все ведь на ней тут.

Он хотел помочь барину сесть в коляску, но старик поднялся сам, указал Гавриилу место подле. Федор устроился на козлах возле Захара. Сытые, отдохнувшие кони играючи рысили по крупному булыжнику; Захар сдерживал их, чтоб поменьше качало.

- Погоняй, – сквозь зубы сказал старик.

- Подъем долгий, Иван Гаврилович. Запарятся.

Старик не стал настаивать, братья подавленно молчали. От моста за крепостным проломом начиналась крутая и длинная Соборная гора, и Захар перевел упряжку на шаг.

- С местом решили? – отрывисто спросил старик.

– Выбрали, – сказал Захар. – Вон в Успенском. Хорошее место, веселое. Не знаю, правда, сколько святые отцы запросят: земляца древняя. Легкая земляца, праху много.

Федор, съездившись, с невольным упреком глянул на него: уж очень буднично звучал голос. Будто шла речь о постройке беседки, где вечерами будут пить чай и любоваться закатом. Это было неприятно и несправедливо по отношению к той, которая сама ни на что уже не могла любоваться и ничего не могла выбирать.

- Покажешь.

- За поворотом остановимся. И лошадки отдохнут.

За коленом Благовещенской Захар свернул налево. Здесь начиналась плотно застроенная вершина Соборной горы, на верхнюю площадку вела крутая лестница. Отец, Гавриил и Захар стали подниматься по ней, а Федор остался: не хотел смотреть, куда завтра зароят мать. Забьют гвоздями крышку, опустят в яму и навсегда засыпят землей. И она неподвижно будет лежать в узком темном ящике, навеки отрезанная от всего живого. От радостей и несчастий, забот и тревог...

– Здесь, – сказал Захар, когда они поднялись и обогнули белую громаду собора. – Место выморочное, я узнавал.

В соборе шла служба, сквозь толстые стены чуть доносилось пение хора, но слов разобрать было невозможно. А здесь, на маленьком кладбище для избранных, чуть шелестел ветер.

– Сыро, – сказал старик. – Тени много.

– В полдень солнце аккуратно сюда выйдет. И уж до заката. И службу слышно.

– Да, службу слышно, – сказал Гавриил. – Хорошо.

Отец сердито фыркнул в усы, но промолчал. Ему самому не хотелось лежать здесь, а о себе он сейчас думал больше, чем о покойнице. Они вместе прожили жизнь и вместе должны были лечь в землю, но ей уже было все равно, а ему почему-то не нравилось. Но он никак не мог определить, что же именно ему не нравится, и поэтому сердито фыркал.

А не нравилось ему не место, а сама мысль о месте. Он не боялся смерти не философски, а возрастно, уже шагнув за рубеж, нечасто, но все же думал о ней, причем думал спокойно и, как казалось ему, до конца. Но то были отвлеченные и потому кокетливые мысли: до самого конца он никогда не добирался. А сейчас мысли эти вдруг обрели грубую, осязаемую реальность: да, вот оно, то место, где он, недвижимый, безгласный и равнодушный ко всему земному, будет лежать и медленно тлеть, сливаясь с землей и растворяясь в ней. Он словно увидел себя в гробу – не в пышно изукрашенном, а в сыром, смрадном, источенном червями. И это было мучительно.

Ничего более не сказав, он повернулся и пошел, еще старательнее выпрямив спину, словно бросая вызов тому неизбежному, во что вдруг заглянул и чего вдруг испугался. То, что испугался, он понимал и от этого еще больше раздражался и хмурился.

Гавриил и Захар слегка отстали; старик шагал крупно, будто убегал. Захар понял это и усмехнулся.

– Не глянулось тут барину.

– Это так, нервы. Ты был, когда матушка умерла?

– Глазыньки ей закрыл, – вздохнул Захар. – Не думай об этом, Гаврила Иванович: Бог ей хорошую смерть послал, тихую. Да и так, если поглядеть, за что ей плохую? Бог, он награждает смертью, так-то. Вот батюшка ваш тяжело помирать будет и знает, что тяжело, потому и страшится.

– Страшится, – повторил Гавриил. – А кто не страшится, Захар?

Сам он тоже боялся, но не смерти, о которой ничего не знал и никогда не думал, а свидания со смертью. Первого в своей жизни свидания. И поэтому замешкался на крыльце, старательно пропуская братьев и сестер. И Федор тоже замешкался и все уступал ему дорогу, и вошли они в залу последними. Вошли и сразу, еще в дверях, увидели мать, потому что гроб стоял высоко и одиноко в самом центре на широком обеденном столе. И внутри его уютно и просто лежала мать, скрестив на груди тяжелые крестьянские руки, и образок в них казался совсем маленьким и – ненужным.

– Ты зачем тут? – неприятно громко спросил отец, увидев Захара, стоявшего у стены поодаль от всех.

– Помилуйте, барин, Иван Гаврилович, это же сестра моя, – тихо сказал Захар. – Сестра единственная, родная.

– То барыня твоя, не забывайся! Ступай вон, вместе с дворней прощаться будешь.

– Опомнись, барин. – Голос Захара задрожал. – Над гробом ведь кричишь, опомнись.
– Вон, холоп!

Низко опустив голову, Захар быстро вышел. Всем было стыдно и неудобно, но никто не вмешался, привычно подчиняясь крутому нраву капризного и своевольного старика.

Дети стояли вокруг, не решаясь приблизиться, и только отец, выпрямившись, как на высочайшем смотре, положил пальцы на край гроба; пальцы эти все время шевелились, словно он поглаживал гроб, но он не поглаживал, а просто скрывал дрожь. Потом обвел всех сухими строгими глазами и глухо сказал:

– Уйдите все.

Все, теснясь, пошли к выходу, стараясь идти медленно и уступая друг другу дорогу. Варя задержалась:

– Подать вам стул, батюшка?

Он молча кивнул. Она принесла стул, поставила у изголовья, постояла немного и пошла к дверям. Отец сказал в спину:

– Дверь закрой и не вели входить.

Подождал, пока она выйдет, пока осторожно, боясь скрипнуть, прикроет дверь, и только после этого тяжело опустился на стул.

– Здравствуй, Аня...

Он пристально вглядывался в окостеневшее, почти чужое лицо единственного на всем свете существа, которое любил жадной, эгоистической, слепой любовью. Он только вчера понял, что любил, когда прочитал телеграмму. Понял не по боли, ударившей вдруг в сердце, – понял по пустоте, которую ощутил. Он всегда жил одиноко, даже тогда, когда рядом была она, он привык к этому одиночеству, ценил его и гордился им, но при этом знал, что одиночество это – его каприз, а не судьба. Что есть на свете человек, к которому он в любой миг может приехать просто так, со скуки, или умирать, есть плечо, к которому можно припасть, есть сердце, которое всегда поймет, есть руки, которые в последний раз закроют его глаза. Теперь все исчезло. Плечо было чужим и холодным, руки – неподвижными, а сердце, перестав биться, уже не принадлежало ни ей, ни ему. И по ту сторону гроба стояла не боль, не тоска: по ту сторону стояло отчаяние глухой старости. Одиночество стало судьбой.

– Поторопилась ты, Аня. Поторопилась.

Он впервые встретил ее четырнадцатилетней, двадцать шесть лет назад. Он был тогда отставным офицером с седыми висками и обидой, от которой, казалось, не было ни лекарств, ни спасения. Она, простая и ясная крестьянская девочка, дала ему лекарство и спасение, и он воспрял, и стал смеяться, и стал жить, – правда, по-своему, особливо, но жить и радоваться жизни. Чувствовать вкус, цвет, запах, ощущать тело и потребность в ласке.

К чьим ногам сложу обиды,
Кому повем печаль мою?..

Он не помнил ни начала, ни конца этих стихов, не помнил, откуда они, кому принадлежат. Он просто мысленно твердил эти две строчки, словно корил судьбу за великую несправедливость.

«ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ».

Эти три слова начертал собственной рукой государь Николай Павлович на его нижайшем прошении. Он лгал вчера Гавриилу, утверждая, что Олесины не просили милостей, – просили! Он сам просил. Правда, один-единственный раз, правда, в отчаянии, правда, почти не помня себя. Оставили без милости, запретив появляться в Петербурге и указав покидать те города, где остановится его величество хотя бы проездом. И с той поры он не был более в Петербурге и уехал из Москвы во время коронации Александра II, хотя получил именное

приглашение присутствовать в Успенском соборе. Сын прощал его, но он не считал себя виноватым перед отцом и потому не принял прощения сына.

...Он влюбился в жеманную пустышку; потом-то он понял, что она пустышка. Но тогда ему было всего двадцать пять, жизнь была ослепительна, и он жил в ослеплении. Девушка отчаянно кокетничала, но держала его про запас: офицер был незнатен, но состоятелен, без связей, но при дворе, дурно воспитан, но красив, строен и высок. Но все же он добился позднего свидания в беседке, пришел много раньше срока, увидел, как прошмыгнула она, замешкался – и к счастью: было бы во сто крат хуже. Кто-то высокий в темной накидке быстро прошел следом. От ревности темнело в глазах, он до ломоты стискивал челюсти, но, выждав, вошел в беседку неожиданно. Девушка вскрикнула, но из объятий не упорхнула.

– Ты весьма кстати, любезный, принеси-ка вина.

Он уже понял, кто его опередил: этот надменный голос знали все. Но он не поклонился, не побежал за вином, не отступил в темноту.

– Сударь, – сказал он, – дама тяготится вашим присутствием.

Пауза была короткой, но он запомнил ее, потому что сердце отсчитывало эту паузу.

– Ступай вон, болван.

Опять ему давали шанс, и опять он не воспользовался им.

– Завтра в это время я буду ждать вас здесь, сударь. Соболаговолите не опаздывать, в противном случае я останусь болваном, но получу право считать вас трусом.

Всю ночь он метался по парку, приходил в караулку, падал на койку, но не было ни сна, ни покоя, и он снова убегал в парк. Утром была смена, но он не успел уйти:

– Олексина к государю! Живо!

Государь завтракал, когда он вошел и громко – государь любил ясность – отрапортовал, что прибыл по повелению. Николай медленно поднял голову, впери в него немигающий взгляд, медленно вытер губы салфеткой. Он не отвел глаза, собрав все свое мужество.

– Тебе известно, что дуэли запрещены?

– Так точно, ваше величество.

– Однако ты ослушался моего повеления.

– Я был в ослеплении, ваше величество.

– В ослеплении? – Глаза, по-прежнему не мигая, без выражения изучали его. – Значит, ты сожалешь о том, что произошло?

– Никак нет, ваше величество. Я сожалею лишь о том, что никогда не смогу узнать, из-за кого нарушил ваше повеление.

– Почему?

– Я был в ослеплении.

– Ты не так глуп, как кажешься. Но мне не нужны караульные офицеры, способные впасть в ослепление. Я принимаю твою отставку с условием, что ты покинешь Петербург до захода солнца и никогда более не появишься в нем.

– Я не просил об отставке, ваше величество.

– Вот как? В таком случае я угадал твоё желание. Ступай и никогда не попадайся мне на глаза.

Он все же подал прошение. Он униженно просил прощения, но царская рука собственноручно начертила: «ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ». И, как было приказано, еще до захода солнца он покинул Петербург.

Он уехал на Псковщину, в родовое гнездо, когда-то, еще при Иване III, подаренное его предку за отвагу и испытанную верность московским великим князьям. Ни темная пора опричнины, ни Смутное время, ни стрелецкие бунты, ни сложная цепь дворцовых интриг прошлого века не поколебали этой верности: в интриги предки не ввязывались, предпочитая служить отечеству подальше от двора. Он был первым, кто нарушил этот фамильный закон, первым

и последним: Романовы не поощряли строптивых дворян. Быстро начавшаяся карьера так же быстро и рухнула, и гвардеец в отставке возвращался к разбитому корыту в смятении и обиде.

Несмотря на опалу, о которой быстро дозналось местное общество, Ивана Олексина принимали с почетом и подчеркнутым вниманием: молодец был холост, а в провинции всегда имелся переизбыток заневестившихся красавиц. Двери всех домов и самого губернатора широко распахнулись, но Иван Гаврилович редко пользовался гостеприимством провинциальной знати, предпочитая мужское общество, карты и охоту. Три года вел он гвардейско-холостяцкий образ жизни, а потом не то чтобы остепенился, а устал. Придворная ветреница была забыта; следовало если не влюбиться, то хотя бы задуматься о женитьбе. Он стал появляться в обществе, наносил визиты, посещал балы, и местные мамы восприняли духом. Гвардии холостяк сам шел в сети, дело завертелось, и вскоре Иван Гаврилович решительно отдал предпочтение племяннице губернатора, девице худосочной, но знатной и вполне светской. На Пасху должна была состояться официальная помолвка, родственники барышни да и она сама уж считали дни, но никто не мог предположить, что в марте случится оттепель и тронутся льды. Эта оттепель остановила Ивана Гавриловича на пути к невесте в глухой, позабытой Богом и кредиторами деревеньке на тринадцать дворов вкуче с барским домом, куда, непривычно согнувшись, и вошел Олексин. Дом был дряхл и беден, хозяин радушен и болтлив, а в овраги кинулись полые воды, мосты снесло, и лед трещал на реках. Приходилось скрепя сердце ждать то ли возврата зимы, то ли наступления лета.

– Межзимье – тяжкая пора! Я, извольте видеть, выезжаю редко, но страшусь этого безвременья. Страшусь!

Хозяин развлекал гостя в маленькой душевной комнатке. За перегородкой звякали посудой, тихо переговаривались женские голоса.

– Я, извольте видеть, тоже лицо неугодное. Давно в отставке и, как и вы, без пенсионера. Отзвуки Сенатской площади, грехи молодости.

– М-да, – вяло поддакивал Олексин.

Вскоре пригласили к столу, где разговор взяла в руки хозяйка. Она не касалась политики, гость мило скучал и много пил, и все сошло благополучно. После ужина мужчины вернулись покурить в клетушку.

– Чай нам сюда подадут. Нюра, неси!

Отворилась дверь, и вошла девочка лет четырнадцати. Собственно, уже не девочка, но и не девушка, полуженщина-полуребенок, маленькая и крепенькая, как репка. Вошла и остановилась, просто и ясно глядя на незнакомого барина чистыми синими глазами.

– Поклонись же их благородию, Нюра. Ты молчишь неучтиво.

Девочка молча поклонилась. Она стояла свободно, как-то удивительно естественно, легко и, чуть склонив голову к плечу, спокойно разглядывала Ивана Гавриловича. И взгляд этот, и полуоткрытые губки были совсем еще детскими, доверчивыми и беззащитными; встретившись с ней глазами, Олексин вдруг точно оглох и слышал уже не голос хозяина, а глухие удары собственного сердца.

– Ваша воспитанница? – спросил он, как только девочка вышла.

– Жена ее балует, – сказал хозяин. – Девочка славная, довольно знает грамоте, читает барыне перед сном.

Больше о ней не говорили. Девочка появлялась каждый день: подавала чай, что-то ловко и неслышно убирала, всегда серьезно, открыто встречая его взгляды. Иван Гаврилович заговаривал, она отвечала коротко, не смущаясь, но не болтая попусту. И он начал улыбаться ей, и она в ответ улыбалась радостно и доверчиво, улыбалась всем существом: сияющими синими глазами, которых не опускала при этом, ямочками на тугих, покрытых золотистым пушком щеках; колючими аккуратными бровками, тотчас же весело прыгавшими куда-то вверх. И тогда Олексин крутил ус и принимался напевать что-то бравурное, отстукивая ритм ногой.

Через пять дней, когда хозяин с гостем сидели за шахматами, вошел мужик и доложил, что дорога на Псков открылась.

– Вот и кончилось ваше заточение, – сказал хозяин. – Завтра, даст бог, еще и подморозит, и утречком можете ехать. А мне, признаться, жаль: рад нашему знакомству, любезный Иван Гаврилович, весьма рад. Буду вспоминать да судьбу благодарить...

Что-то он еще говорил. Олексин не слушал. Нелепо и быстро проиграл партию, походил по комнате, нещадно дымя трубкой, и сказал вдруг:

– Продайте мне эту Ньюру. Да, да, продайте, что вы смотрите на меня? Дам, сколько запросите.

– Я не торгую людьми, милостивый государь, – тихо сказал хозяин.

– Ну подарите, обменяйте, проиграйте в карты, наконец!

– Я не торгую людьми, – повторил хозяин. – И оставим этот разговор, Иван Гаврилович.

Олексин уехал через час, кое-как собравшись и почти не простившись с гостеприимными хозяевами. Но поехал он не к невесте, что с нетерпением ждала его, а в Псков. Там узнал, что деревня заложена-перезаложена, и через подставных лиц купил ее на корню, велел старым хозяевам убраться на все четыре стороны.

Общество изумилось, губернатор настоятельно просил в гости, но он нигде не появился, а сразу же после всех сделок, подкупов, взяток и расчетов вернулся к себе. В огромное поместье с многочисленной дворней, конюшнями, псарнями и любовницами. Любовниц он разогнал, кого тут же выдав замуж, а кого просто отправив подальше, и стал ждать со странным ощущением, что так он не ждал никого.

Через три дня привезли Ньюру.

Ритуал был продуман до мелочей. Новую пассию встречали, переодевали и наставляли особо доверенные лица. Они же и ввели ее к нему в спальню, как было приказано. Ввели и исчезли, сдернув с нее платок, в который она куталась по-девичьи старательно.

Он развалился на пышной, разобранной ко сну постели. А она стояла перед ним в короткой батистовой рубашке, надетой на голое тело, плотно поставив рядышком маленькие ступни; помпоны на туфельках были синими, под цвет глаз, он сам купил эти туфельки в городе. Стояла молча, со странной взрослой грустью глядя на него.

– Здравствуй, Аня, – сказал он ненатурально бодрым голосом. – Подойди и поцелуй меня.

Она не тронулась с места, а из глаз вдруг полились слезы. И это было очень странно, потому что глаза ее по-прежнему смотрели на него не моргая, а слезы все текли и текли по крутым щекам, оставляя бороздки в пушке. Текли и капали со щек на грудь, и тонкий батист намокал и начинал уже просвечивать там, где намокал, и он видел крохотные темные соски, то ли от холода, то ли от волнения вынырнувшие, как пуговицы.

– Не бойся, глупенькая, – сказал он. – Этого не избежать, и будет лучше, если ты подойдешь сама. Ну же. Не заставляй меня ждать, а тем паче прибегать к силе.

Она молчала и не двигалась, а слезы продолжали капать. Тогда он встал, уже злясь, прошелся по комнате, покашлял внушительно.

– Если бы я не любила, – вдруг сказала она. – Господи, если бы я не любила вас...

И, опустив голову, покорно пошла к кровати. Он растерянно посмотрел на нее и неожиданно для себя крикнул:

– Эй, кто там! Накрыть в столовой ужин! – И добавил, не глядя: – Поди оденься и жди в столовой. Я сейчас спущусь.

Он оделся к ужину как на бал. Спустился вниз; девочка уже ждала его, одетая во все новое, купленное на глаз, но старательно подогнанное. Подошел.

– Прости меня, Аня. – Взял за руку и подвел к столу. – Вот твое место. Отныне и навсегда.

Он сказал эти слова не готовясь, не думая, что скажет именно их, и всю жизнь потом тайне гордился, что сказал именно так.

Он хотел, чтобы она улыбалась, как там, у болтливых, уютных стариков, и чтобы так же, как там, смотрела на него с открытой детской влюбленностью. Хотел куда больше, чем чего бы то ни было иного, и сам удивлялся этому странному желанию. Но глядела она пока настороженно и серьезно, отвечала односложно и совсем не улыбалась, хотя он шутил и легко рассказывал забавные истории. И все равно ему было приятно угощать ее, смотреть на нее и чувствовать ее рядом.

После ужина он сам проводил девочку в отведенную для нее комнату, сказал, что ждет к завтраку, и пожелал спокойной ночи. Она поклонилась:

– Спокойной ночи, барин.

– Ты забыла, как меня зовут?

– Спокойной ночи, барин Иван Гаврилович, – покорно поправилась она.

Он ласково погладил ее по голове и ушел. И был чрезвычайно доволен, что не тронул, не обидел, не сломал эту девочку. Полночи бродил по дому, улыбался в зеркала, выходил во двор и подолгу смотрел в ее темное окно.

Он думал, как странно обернулась его прихоть и как радостно ему сейчас именно потому, что прихоть эта обернулась странно. Нет, не вожеление руководило им, не вдруг вспыхнувшая страсть к чистой и очень юной девочке: в его жизни бывали и чистые, и юные, но такой пронзительно искренней еще не было, и эта наивная, святая искренность и приводила его в восторг. Впервые в жизни он поверил, что его любит женщина, поверил сразу, ни секунды не колеблясь и не требуя доказательств. Поверил всем сердцем, без остатка, поверил до потрясения и сохранил эту веру и это потрясение на всю жизнь вплоть до сегодняшнего дня.

А тогда... Тогда он все же раздул почти угасший огонек влюбленности осторожной лаской, заботливостью, подчеркнутым вниманием, проявив совершенно не свойственное ему терпение. Это была игра, игра азартная, новая, невероятно увлекавшая его. В этом увлечении он сначала перенес помолвку, сославшись на недомогание, а потом и вовсе забыл о ней и уже летом был неприятно удивлен личным визитом губернатора.

Говорили о Кавказской войне, о политике Англии, о последних петербургских сплетнях. Губернатор привез с собой свежие газеты и журналы, ни родственников, ни отложенной помолвки в разговорах не касался, и Иван Гаврилович немного успокоился и даже стал намекать, что собирается за границу на воды для окончательной поправки здоровья. Губернатор поддержал его намерение, выразил надежду, что Олексин возвратится полностью выздоровевшим, и беседа покатилась совсем уж легко и просто.

И тут из сада вбежала Аня («Нюру» Иван Гаврилович решительно приказал забыть). Она всегда вбежала без доклада, уже привыкнув к своему особому положению в доме, любила появляться вдруг, выпалить что-нибудь, подставить лоб для поцелуя и так же неожиданно убежать.

– Пионы расцвели! Те, махровые, у беседки...

Тут она увидела, что барин не один, и замолчала.

А Олексин спокойно смотрел на нее и улыбался, да и трудно было не улыбнуться внезапно влетевшей в чинную тишину крепкой девчушке в розовом нарядном платье, с цветами в руках.

– Позвольте представить вам, ваше превосходительство, мою воспитанницу Анну Тимофеевну. Анечку.

Губернатор, выждав паузу, неуверенно кивнул. Аня сделала книксен, подошла и протянула цветы:

– Это самые первые. Посмотрите, как хороши.

Ей было трудно сказать эти слова, а уж для того, чтобы протянуть так легко и свободно цветы, понадобились все силы. Она была очень застенчива, даже диковата, всегда помнила о том, кто она и где кончаются ее права, но сейчас боролась за свое счастье и шла на дерзость с отчаянной решимостью, точно бросалась в омут.

– Так вот какова она, ваша Психея, о которой идет столько разговоров, – по-французски сказал губернатор. – Мила, очень мила. Но дерзка. Весьма.

– Его превосходительство говорит, Анечка, что ты очень хороша, – невозмутимо перевел Олексин. – Буду весьма признателен, ваше превосходительство, если вы избавите меня от обязанностей толмача.

– Как мужчина мужчине я вас понимаю, – все так же продолжал губернатор. – Однако позволю себе надеяться, что, утолив пыл и охладив страсть на водах, вы вспомните, как джентльмен, о некоторых обязательствах если не перед моей племянницей, то хотя бы перед обществом.

– Анечка, его превосходительство благодарит тебя за цветы и желает обедать с нами, – с улыбкой пояснил Иван Гаврилович. – Распорядись, душенька, чтоб накрыли на террасе.

Аня положила цветы перед губернатором, мило улыбнулась и убежала. Его превосходительство проводил ее взглядом и недовольно вздохнул.

– Вы слишком балуете эту девчонку, сударь. Надеюсь, она не восприняла буквально ваш вольный перевод и я не увижу ее за обедом.

– Напротив, ваше превосходительство. Хорошенькие лица способствуют аппетиту.

– Для меня это очень сильное средство, – сухо сказал губернатор, вставая. – Кроме того, я спешу. На прощанье позволю себе дать вам совет: одумайтесь, Олексин.

– Как мужчина мужчине признаюсь вам, что я не принимаю советов ни от кого, исключая управляющего, за что и плачу ему деньги. Это гарантирует меня от слепого подчинения чужим, а следовательно, и не вполне искренним желаниям.

– Вы, кажется, забываетесь, милостивый государь!

– Простите, но это вы забываетесь, повышая голос на хозяина дома. Не сюда, ваше превосходительство: эта дверь сократит вам путь к вашей карете. Эй, кто там! Карету его превосходительства!

Он не вышел проводить губернатора. Не в гневе – он был абсолютно спокоен, – а чтобы раз и навсегда поставить точки над *i*. Глядел через окно, как подсаживали в карету смертельно обиженного старика, как тронулась карета. Потом оглянулся – в дверях стояла Аня.

– Старый пень отбыл, и мы обедаем вдвоем! – весело сказал он. – Ты довольна?

Она серьезно смотрела на него.

– Его племянница и есть ваша невеста?

– Почему ты так решила?

– Он говорил о ваших обязательствах.

– Аня, – он опустил на стул, поманил ее, – ну-ка поди сюда.

Она подошла, и он обнял ее за талию.

– Кажется, я напрасно переводил?

– Меня барыня, та, прежняя, учила французскому, я и читать умею. – Она не удержалась и немножко похвастала.

– Ах, умница моя...

– А переводили вы не напрасно. – Аня вдруг начала неудержимо краснеть. – Совсем даже не напрасно.

И, гибко изогнувшись, впервые крепко и благодарно поцеловала его в губы. Тут же выскользнула из объятий и убежала. Только платье взметнулось.

За границу он поехал вместе с Аней, правда, не на воды, а в Париж. Он ехал летом, в мертвый сезон, не столько по прихоти, а для того чтобы девочка спокойно привыкла к незнакомой жизни. Поэтому и вернулись поздно, к началу зимы, и под первые морозы обвенчались в скромной сельской церкви, в которую вошла крестьянская девочка Нюра, а вышла барыня Анна Тимофеевна.

А гости на свадьбу не пожаловали, хотя приглашения были разосланы широко и заранее: даже единственная сестра Софья Гавриловна сказала больная. И, войдя в зал, где ломились столы и никого не было, Иван Гаврилович затрясся и закричал:

– Все отдать свиньям! Все!..

Он крушил мебель, переворачивал столы, бил посуду. К нему боялись подступиться, и только молодая жена отважно бросалась под тяжелые кулаки; утром он виновато целовал ее кровоподтеки.

Это был первый приступ слепой ярости, ворвавшийся в день свадьбы как знамение: Иван Гаврилович трудно переживал обиды. Он никуда более не выезжал и никого не принимал у себя ни под каким видом, сделав исключение только для сестры по слезной просьбе Анны Тимофеевны. Он никогда не забывал оскорблений, он сладострастно берег их в памяти, холил и нежил, и они обрастали наслоениями, непомерно раздуваясь, теряя причинные связи, отрываясь от действительности и угнетая его размерами. Все это зрело в нем, как нарыв, иногда прорываясь в припадках безудержного гнева. Тогда он ломал все вокруг, беспощадно сек людей за малейшую провинность, а опомнившись, уезжал подальше от немого укора терпеливых глаз жены. Переселился из Псковщины на Смоленщину, подарив Анне Тимофеевне Высокое, и окончательно устранился от всего. Не интересовался ни делами, ни хозяйством, пристрастился к охоте, случайным трактирным знакомствам – и постепенно, как-то исподволь, – к одиночеству.

Первый ребенок родился мертвый: Анна Тимофеевна была еще слаба, еще не созрела и не могла рожать детей. Несмотря на отчаяние, она не потеряла головы: свято выполняла указания врача, выписанного из Германии, год всеми правдами и неправдами береглась и хитрила и в шестнадцать родила крепкого и здорового мальчишку. И уже больше не береглась и не боялась, хотела детей и рожала их еще девять раз...

А теперь лежала перед ним тихая и покойная. И он, не отрываясь, все смотрел на нее и смотрел, а в голове тяжело и упорно ворочалась одна мысль: «Что же ты меня-то обогнала, Аня? Что же ты бросила-то меня, одного бросила?» Это была новая обида. Самая горькая из всех обид, что с таким сладострастием коллекционировал он в себе.

3

– Ну вот, мы все в сборе, – сказала Варя, выходя на террасу.

– Почти все, – поправила Маша: она любила точность. До прихода Вари все молчали. Младшие теснились вокруг Ивана – он всегда возился с ними, – старшие разбрелись по террасе, не решаясь ни присесть, ни заговорить. И Варя подумала, что эти-то уже расстались с гнездом, уже разлетелись, а теперь и вообще не появятся более. До очередного несчастья. От этой мысли ей стало еще горше, и она твердо решила сделать все, чтобы не допустить распада семьи. Сохранить клан, растерявший сословные связи, знакомства и поддержку.

– Ваня, погуляй с детьми.

Иван тотчас увел младших; они были такими потерянными, такими непривычно тихими и послушными в эти дни. А ведь их предстояло вырастить, выучить и направить в жизнь, и все эти заботы грозили свалиться на нее одну.

– Садитесь, – сказала Варя. – Нам надо поговорить.

Все расселись. Она осталась стоять, вглядываясь в такие родные, такие знакомые и такие похожие друг на друга лица. Все они сейчас почему-то избегали ее взгляда; только небрежно обросший юношеской клочковатой бородой Федор смотрел на нее, но думал о чем-то ином: глаза были пустыми, отсутствующими. Видно, опять был в плену какого-то вдруг принятого решения и уже предвкушал результат, еще не начав действовать. «Наш Феденька из неубитого медведя уже по себе шубу кроит», – говорила в таких случаях мама.

– Кажется, мы наконец-то становимся взрослыми, – неуверенно нащупывая подходы, начала Варя. – Вернее, должны стать взрослыми, если способны оценить мамину... – она не решилась произнести слово «смерть». – Оценить, что мамы больше нет. Мы сироты, да, да, круглые сироты, поскольку батюшка нам отцом так и не стал.

– Варя, так не следует говорить, – строго сказала Маша. – Это несправедливо и непочтительно.

– Несправедливо, непочтительно, но верно, – сказал Гавриил. – Варя права: пора научиться смотреть правде в глаза.

– Несправедливо, но правда? – Маша возмущенно тряхнула тяжелой косой. – Разве может существовать несправедливая правда? Это же иезуитство какое-то: несправедливая правда! Может быть, это исповедуют в полках, но исповедовать это в жизни...

– Оставь, Маша, – ломающимся баском прервал Владимир. – Нашла время для споров. И кстати, именно офицерский корпус с его особым, я бы сказал, рафинированным отношением к личной чести не заслужил твоих оскорбительных намеков.

– Не надо спорить, – примирительно сказала Варя. – Вероятно, я неточно выразилась, но суть в том, что мы – семья, понимаете? Мы – семья, – твердо, как заклинание, повторила она, – единая семья, одно целое. Конечно, мы разъедемся, разлетимся, у каждого будут свои заботы, а потом и своя семья, но где бы мы ни были, куда бы ни забросила нас судьба, мы должны помнить, что мы – одно целое, что нет крепче уз, чем те, которыми мы связаны. Мы – мамыны дети, помните это всегда.

– Мужичкиные дети, это ты хотела сказать? – с усмешкой спросил Гавриил. – Не стоит, Варвара. Не стоит наступать на мозоль. И забыть нам о ней не дадут, даже если бы мы сами хотели этого. Не дадут, господа лошаки, не дадут-с!

Он замолчал, с излишней торопливостью прикуривая новую папиросу. Все смотрели на него и тоже молчали, и в этом молчании было не столько удивление, сколько стыд за него, будто он, старший, сделал сейчас нечто глубоко безнравственное.

– Ты это скверно сказал, Гавриил, – вздохнул Федор. – Очень скверно, прости уж, пожалуйста.

– Подло! – крикнула Маша, и в глазах ее показались слезы. – Это подло, низко и гадко! Зачем ты приехал сюда? Зачем? Чтобы плюнуть в гроб?

– Успокойся, Маша. – Варя обняла сестру за вздрагивающие плечи. – Володя, принеси воды. Успокойся, Гавриил не то имел в виду.

– Нет, то! То самое!

– Сожалею, что был превратно понят, – деревянным голосом сказал Гавриил и встал. – Здесь достаточно причин для иных слез, не стоит лить по этому поводу. Полагаю, что конференция окончена.

Спустился в сад, постоял немного и пошел подальше от детских голосов, в глушь, к беседке.

– Пожалуйста, Федя, верни его, если сможешь, – сказала Варя. – Ах, ну почему, почему нет Васи!

– Пей. – Владимир принес воду. – И Бога ради, перестань реветь.

– Тебе не обидно за маму? – спросила Маша, залпом выпив воду. – А мне очень обидно, очень.

– Он не так выразился, уверен, что не так, – вздохнул Владимир. – Всем нам трудно, все мы как потерянные, почему же ты считаешь, что ему все трын-трава? Нельзя же быть такой непримиримой. Маша, нельзя.

– Только бы Федя вернул его, – вздохнула Варя.

Федор нагнал брата скоро, но долго шел молча: ждал, пока оба успокоятся. Он не любил столкновений и ссор, терялся в них и потому всегда старался свести дело к мирному концу. Но пока он выжидал и подыскивал слова, заговорил поручик:

– Нас прекрасно воспитывали, ты не находишь? Мы говорим на трех языках, довольно насыщены о новой философии и модных идеях, знаем, почему Сократ выпил чашу с ядом и почему Иоанн Креститель расстался со своей головой...

– Мне кажется, ты говоришь о другом, – нерешительно перебил Федор. – Ты говоришь о наших знаниях, а не о наших принципах. Можно знать очень много, очень, можно быть великим ученым и не иметь никаких принципов. Ты согласен?

– Кто это тебя научил? – с усмешкой спросил Гавриил. – Скажешь, что сам додумался? Не поверю, Федька: ты ленив и мягок.

– Конечно, не сам, – тотчас же согласился брат. – Это все Вася. Он будто сеятель среди нас, правда? Разбросал семена, щедро разбросал, не задумываясь и не скупясь, и уехал в Америку. Может быть, тоже сеять? А зерна его в нас прорастают, я чувствую, как они прорастают, хоть и многого не понимаю еще.

– Болтуны вы, что ты, что Васька, – проворчал поручик. – Перебил меня, а я в мыслях запутался. Обидно, брат, когда в лицо смеются, а крыть тебе нечем, очень обидно. – Он помолчал. – Так что там Василий говорил насчет принципов?

– Он считает, что принципы – единственное мерило личности. Именно по ним мы уже давно бессознательно делим людей на добрых и злых, на плохих и хороших. Мы знаем, допустим, что господин N, пусть он хоть трижды легкомыслен, не солжет и не предаст, ибо у него в душе воспитаны принципы, посеяны и выращены. А вот господин NN, с пафосом воздающий хвалу своему учителю, завтра же отречется от него и с тем же пафосом будет проклипать, с каким хвалил. И пусть он хоть семи пядей во лбу, пусть он хоть все знания мира вобрал в себя – грош ему цена, ибо он беспринципен. Разве не так? Разве ты сам не делишь людей исходя из их порядочности?

– Я делю людей на счастливых и несчастных, вот и вся философия, – сказал Гавриил. – Это деление точное и правильное, а все остальное – от лукавого, Феденька. От безделья, господа студенты, только от безделья.

– Ты упрощаешь, брат. Упрощаешь неосознанно, потому что боишься...

– Боюсь? – Поручик громко, нарочито расхохотался. – Ты говоришь это офицеру, побывавшему в Хиве?

– Извини, я не имел в виду храбрость, я имел в виду понимание жизни. Большинство, огромное большинство людей поступают так, как ты, то есть разлагая жизнь на две субстанции: на счастье и несчастье. Это примитивное представление...

– Брось ты эту галиматью, Федор! – неожиданно грубо оборвал его Гавриил. – Плевать людям на все ваши философские доктрины, им счастье подавай. Да, да, примитивное, обывательское, насущное и реальное счастье. И они стремятся к нему всеми силами и всеми мерами, ибо в противном случае будет несчастье. Так вот, счастье и несчастье – это альфа и омега жизни, господа теоретики. Альфа и омега, от и до, два полюса, меж которыми мечется людское стадо, сопя, толкаясь и беспощадно давя друг друга.

– Зачем ты такой злой, Гавриил? – вздохнул Федор. – Злость сушит ум. Сушит.

– Злой, говоришь?

Гавриил замолчал. Они поравнялись с беседкой, и из этой заросшей хмелем беседки вдруг донесся глухой, сдавленный стон. Гавриил раздвинул колючие плети: за врытым в землю столом, низко согнувшись и закрыв лицо смятым картузом, сидел Захар. Широкая спина его судорожно вздрагивала, и зажатые рыдания были похожи на странный рыкающий кашель.

– Вот почему я злой, – тихо сказал Гавриил. – Я тоже хотел бы зарыдать в шапку, но не могу. Не могу, и ты не можешь, и нам во сто крат горше, чем ему.

– Захар, – Федор вошел в беседку и, сев рядом, положил Захару руку на плечо. – Что ты, Захар, что ты?

– Эх, Феденька! – Захар тяжело вздохнул и отер лицо картузом. – Тяжко, когда и смерть не равняет. Не мне, а ей тяжело, сестрице моей.

– Батюшка сторяча сказал так, от боли, – сказал Федор. – Он и нас выгнал потом, один остался. Может, рыдает там сейчас, как ты здесь.

– Зарыдает он, как же. – Захар поднял голову, увидел стоявшего в дверях Гавриила, хотел было встать, но не встал и только качнулся. – Не будет ли папиросочки, Гаврила Иванович? Табак свой позабыл где-то.

Гавриил, помедлив, протянул портсигар. Сел рядом, усмехнулся:

– Слезами печаль мерить проще простого. И стоит недорого, и видно всем.

– Ах, брат, брат! – Федор укоризненно покачал головой.

– Сухая душа быстро черствеет, барин, – сказал Захар. – А с сухарем вместо сердца жить тяжело. Сами знаете: было на кого глядеть.

– Грех на старика злобу копить, – примирительно сказал Гавриил. – Бог велел прощать ближним, да и уедет он скоро. Залезет опять в свою раковину, и до смерти ты его не увидишь.

– Уйду я, – сказал Захар, словно не расслышав. – В Сибирь уйду, в Малороссию или еще куда. Человек я вольный, и бумаги при мне. Не могу я тут, тошно мне, и душа моя словно с места сдвинута.

– Уйдешь? – Федор весь подался к Захару. – Вправду уйдешь?

– Вот крест святой. – Захар перекрестился. – Корень мой зачах тут, не хочу более в Высоком.

– Тогда, знаешь. – Федор задохнулся словами. – Возьми меня с собой, а? Возьми, пожалуйста, возьми! Я работать хочу научиться, я пользу хочу приносить и понять все, я...

Гавриил громко засмеялся, но Федор уже не обращал на него внимания. Он был весь во власти идеи, он уже жил ею, он уже шел куда-то, уже пахал, ловил рыбу или рубил избу: привычно и восторженно кроил шубу из неубитого медведя.

– Да что ты, Феденька, – улыбнулся Захар. – Душа у тебя добрая, это конечно, только шкворень бы ей выковать...

– Вот вы где, – сказал Иван, заглядывая в беседку. – Идемте же к Варе, она по всему саду гонцов разослала.

– Идем с нами, Захар, – сказал Федор. – Мы как раз семейные дела решаем.

– Нечего там Захару делать, – прервал Гавриил, выходя. – Мы и сами-то толком не знаем, что решать да о чем говорить.

Однако Варя знала, чего хотела. Высокое было собственностью мамы только при жизни, после смерти оно отходило к отцу. Конечно, он никогда не оставил бы младших без средств, но по капризу или в порыве отчаяния мог, никого ни о чем не спрашивая, продать имение и предложить всем перебираться на Псковщину. Вот этого Варя и не хотела и боялась и поэтому заранее решила условиться, чтобы в случае необходимости прозвучало хотя бы всеобщее неудовольствие.

– Послушает он нас, держи карман шире! – сказал Владимир.

– Оставь юнкерские прибаутки для казарм, – нахмурилась Варя.

– Господи, о чем вы, о чем? – вздохнул Иван – с младшими его заменила Маша, не желавшая более видеть Гавриила. – Можно же и потом об этом, после всего.

Он не сказал «после похорон», не смог выговорить.

– После всего он уедет.

– И я уеду, – вдруг сказал Гавриил.

– Знаете, я, пожалуй, тоже, – начал было Федор, но замолчал, потому что все сейчас смотрели на Гавриила.

– Торопишься в полк? – спросил Владимир.

– Нет, я в длительном отпуску. – Гавриил говорил отрывисто, словно нехотя. – Я еду в Сербию.

– В Сербию? – недоверчиво переспросил Иван.

– Да. К генералу Черняеву.

– Это прекрасно! – восторженно воскликнул Федор. – Это замечательное, благородное решение, я... Я завидую и от всего сердца благословляю тебя.

– А как же «не убий»? – усмехнулся Гавриил. – Я ведь убивать собираюсь, Феденька.

– Счастливцев! – заулыбался Владимир. – Если бы я мог...

– Как глупо! – резко сказала Варя. – Как оскорбительно глупо все, о чем вы говорите! Все ваши восторги, планы, шуточки над маминым гробом.

Все примолкли. Федор виновато развел руками и сел. Владимир перестал улыбаться.

– Ну, давайте скорбеть, – сказал Гавриил. – Хором или по очереди?

– Нет, это, право же, нехорошо как-то, – вздохнул Иван. – Мы забываемся, а это нехорошо.

– Нехорошо то, что фальшиво, – сказал Гавриил. – А если мы искренне улыбаемся, то ничего плохого в этом нет. И это никак не может оскорбить ни наши чувства, ни мамину память.

Варя не успела возразить: из залы вышел отец. Все встали, глядя на его осунувшееся, окаменевшее лицо с остановившимися, невидящими глазами. Он медленно подошел, остановился перед Варей, хотел что-то сказать, но губы запрыгали, и он прикрыл их рукой, разглаживая усы.

– Что с вами, батюшка? – тихо спросил Федор.

– Почему у нее, – старик дрожащими пальцами потыкал щеку, – пятнышки? Здесь пятнышки?

– Она полола, – сказала Варя. – Полола и упала в землю лицом.

– Последняя боль. – Старик покачивал головой. – Кто решил здесь хоронить? Кто сюда везти приказал, я спрашиваю?

– Мы, – растерянно сказал Владимир. – Я, Маша, Ваня, Захар...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.